18+

ПЕТР ПАВЛЕНСКИЙ

о русском экционизме

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

«Зашивая себе рот на фоне Казанского собора, я хотел показать положение современного художника в России: запрет на гласность. Мне претит запуганность общества, массовая паранойя, проявление которой я вижу повсюду».

- Павел Павленский
  - Разговор первый
  - Разговор второй
  - Разговор третий
  - Бюрократическая судорога и новая экономика политического искусства
  - Приложение

Павел Павленский
О русском акционизме

Разговор первый

— У тебя есть дети?

— Да, две девочки. Они в принципе так или иначе часть процесса. Они находятся рядом во время каких-то подготовок, каких-то еще вещей. Хотя я им изначально не объясняю, что и зачем. И конечно, я их никогда не беру именно на акции, потому что, когда все начинается, никогда не знаешь, чем это может закончиться. И вообще странно было бы брать детей для участия в том, что правоохранители упорно называют противоправным деянием, организованным по предварительному преступному сговору. Дети, конечно, в этом случае будут отвлекающим фактором. Но потом я показываю им всю документацию. Мне интересны их вопросы, какой у них будет ассоциативный ряд, как они воспримут происходящее.

Самое важное — то, что их никогда ничего не пугало. На самом деле эти бесконечные разговоры о том, что кто-то может испугаться, что эти сцены жесткости и так называемого насилия над собой, что это издевательство над собой и над чувствами горожан или гостей города… Это, конечно, вранье. Я смотрю на реакцию обеих, но ни одна ни когда не была напугана. Им интересно, что там происходило, было больно или не было.

Им интересно, что осталось за кадром, как дальше развивались события. Что происходило в отделе и т. д. У них вопрос может быть — как ты это сделал? Она как-то видела, например, старший ребенок, «Фиксацию». Смотрела. А потом через полгода, спросила: «Как ты приколотил?» — «Взял и прибил. Это же кожа». Я ей спокойно говорю, что это кожа, ничего такого. Она просто не поняла, как я это сделал. Просто вопрос: «Тебе больно? — «Нет».

— Как ты им это объясняешь?

— Я как историю рассказываю: поехал туда, сделал то. Я могу сказать: чтобы показать положение людей. Но и это уже будет сложное объяснение.

— Самое сложное объяснение, что ты им давал: в стране все так плохо, и я протестую?

— Я не говорил даже так. Я могу сказать, скорее, что я показываю, в каком положении находится человек, который боится. Человек, который зафиксирован и позволяет с собой это делать. Нет, я так не делаю. Скорее как историю рассказываю. Они подошли туда…

— Если говорить про старшую дочь, она и первом классе, как я понимаю?

— Нет.

— Почему?

— Потому что детей принуждают носить школьную форму. Всех унифицируют по брюкам и юбкам одинакового цвета. Это верный признак наползающего тоталитаризма.

— Ты серьезно?

— Школьная форма — да это признак. Не важно, в какой стране и в каком заведении этот признак присутствует. Это же унитаризм. Он есть и в религиях.

— Школьная форма — признак наползающего тоталитаризма, так?

— Да.

— В Англии тоталитаризм?

— Бывшая адская империя. Это один из признаков. Sex Pistols там до сих пор запрещают. Почитай про Маргарет Тэтчер, например.

— Я знаю про Тэтчер, ну была железная леди, теперь ее нет, а форма как была, так и осталась.

— И про то, как она реагировала на Ирландскую республиканскую армию.

Тэтчер нет, а Sex Pistols запрещают.

— Хорошо, а в Америке тоже тоталитаризм?

— Если система капиталистическая, это не значит, что в ней не присутствуют зерна тоталитаризма. Посмотри, что в Америке делали с чикагскими анархистами. И как оттуда выслали Эмму Гольдман. Я тебе сейчас еще вспомню про пару диагнозов психиатрических, которые там придумали: драпетомания, дизестезия.

— Я просто хочу сказать, что гарвардская форма, по-моему, никак не связана с проявлениями тоталитаризма. Понимаешь?

— Да, я абсолютно уверен, что у любой формы прямая связь именно с тоталитаризмом. Это прямое стирание идентичности и подчинение общему, просто в некоторых режимах это более явно читается, в некоторых рассеивается.

— Гарвардская форма — это не общее. И оксфордская тоже. Ты знаешь, кем становятся их выпускники? Ни разу не заурядными серыми подчиненными мышками. Их форма — это как значок «я один из самых умных и перспективных людей своего поколения».

— Ну, форма СС тоже была значком — я самый умный и перспективный из всего человечества.

— Это не совсем так, в СС все было сложно. Значение формы Гарварда всегда одно и то же.

— Я говорю про признаки. В профессиональной армии не может не быть формы. А любая армия — это жесткая тоталитарная структура. Расстрельная дисциплина — это основа ее жизнеспособности во время боев. Как называют государство, которое начинает жить по простому армейскому принципу расстрельной дисциплины?

— Значит, все государства, где есть школьная и университетская форма, живут по этому принципу?

— Большая тоталитарная система складывается из признаков. Это один из них. Чем их больше, тем более тоталитарна эта структура. Очевидно, в Северной Корее этих признаков несколько больше, чем в Америке, поэтому она и выглядит более тоталитарной.

— Тогда, как в эту теорию встраиваются африканские республики?

— Так же, только картинка другая. Лени Рифеншталь очень интересовалась как белой, так и черной эстетикой. За что и получала всевозможные обвинения, сама знаешь в чем. Слушай, и с Африкой это вообще край. Я смотрел кино про неоколониализм. В Африку едут западные колониалисты вместе со своими миссионерами, и начинается цивилизаторский ад. Через год такой работы африканские дети сидят в школьной форме за партами. Африканские мужчины маршируют строем в форме. А женщины напяливают белые лифчики поверх своих украшений и повязок.

— Ты не думаешь, какой у твоей дочки может возникнуть конфликт со сверстниками?

— Я не думаю. И мне, честно говоря, наплевать. Какой может быть конфликт? Если у нее конфликты будут возникать, я думаю, она их сможет решить, наверное. Конфликт какой? Непонимания?

— Да, непонимания. Дети все-таки очень жестокие. Они могут начать издеваться, когда в какой-то момент войдут в то информационное поле, где делаются твои акции. Все-таки для большинства населения, детьми которых будут являться одноклассники твоей дочери, это будет дико, непонятно, просто городской сумасшедший. И дети будут транслировать позицию собственных родителей. Они скажут: «Мы учимся с дочкой современного художника». Родители ответят: «А, это тот, который прикрепляет яйца к Красной площади?». И дальше твои дети будут с этим сталкиваться. Ты об этом думал когда-нибудь?

— То, о чем ты сейчас говоришь, это область перспективы, это в полиции любят обсуждать. Это как выстроить себе преграды на пути к своему же действию. Я могу сказать, по большей части я

сталкивался со многими ситуациями, и я примерно представляю, как это воспринимают люди. Такая переизбыточная эмоциональная реакция, как правило, ее только в Интернете много. В реальной жизни, когда я где-то пересекаюсь с людьми, как правило, я вижу, что люди понимают все очень хорошо.

Один раз только в метро у меня была стычка с каким-то человеком, даже не стычка, а у него началась истерика, когда он меня узнал. Он узнал меня в вагоне метро, достаточно молодой парень. И он начал сверять с Интернетом, потом начал бегать по вагону. Мы едем, поезд едет. Он бегает по вагону и призывает людей восстать против меня, как-то объединиться.

Его ни один человек не поддержал. Он лез к людям с этим телефоном, от него просто отмахивались, типа гражданин бегающий. Я наблюдал, как люди реагируют. Не добившись поддержки, он стал меня обвинять, что я страну унизил, его унизил, площадь, что-то еще. По глазам людей было видно, что если даже они меня и узнали… Я не увидел среди этих людей какого-то непонимания или желания напасть. Люди скорее понимают, чем не понимают.

А дети, жестокость детей… Я не знаю.

— А ты как-то особенно воспитываешь детей, чтобы они могли противостоять тому, с чем они, скорее всего, столкнутся?

— Я даю им, может, какие-то необходимые навыки. Старшая, поскольку они не ходили в детские сады и такие структуры не посещали, она занимается шахматами и боксом. Младшая только боксом, для шахмат ей подрасти немного надо.

— Я так и подумала, что твои дети должны заниматься борьбой.

— Просто это, скорее, связано с тем, что это две девочки, как раз, скажем так, это некое размышление на тему положения женщин и навязывание некоторыми институтами, в частности феминизмом тем же, женщине положения жертвы. Феминизм тоже во многом этим педалирует — вот, женщина всегда жертва, а мужчина может побить. Да никто никого не может побить. Это просто вопрос отношения к этим вещам. Бьют, если один человек дает себя бить. И поскольку это девочки, я бы очень не хотел, чтобы они позволяли себя бить.

Когда между двумя людьми начинается конфликт и они начинают что-то друг другу говорить, пока дело касается только слов, один говорит, другой отвечает, у них происходит стычка. Когда начинается какой-то физический конфликт, то это уже навязанные обществом такие рамки, что один человек должен забиться куда-то под стол. Ничего подобного. Он не должен

никуда забиваться.

— У тебя есть жена?

— У меня нет жены. Нет жены в том смысле, что это же позиционно. Что такое жена? Это начинается…

— Гражданская жена?

— Есть женщина, с которой мы вместе работаем, можно назвать ее другом, соратницей, при пом у нас все равно свободные отношения, потому что мы принципиально не являемся собственностью друг друга.

У нас много там выстраивается по такому принципу.

— А ты готов морально, что тебя могут отправить в колонию, в психушку?

— Как морально?

— Ты понимаешь, что каждой акцией ты рискуешь туда попасть?

— Да, я не исключаю такой возможности.

— Тебя не останавливают дети, за которых ты несешь ответственность?

— Нет.

Вся эта тема — не останавливают ли меня дети? Если бы меня останавливали дети, то это были бы не дети, которым я могу что-то дать, они из детей превращаются в средство контроля и управления. Если я буду опираться в этих решениях на детей, на то, что дети вообще есть, то дети превратятся в инструмент контроля моих действий, и все.

— Я лично не верю, что тобой нельзя никак манипулировать с помощью детей. Приходят к тебе из опеки: ты, чувак, вообще асоциальный, мы твоих детей сейчас заберем и поместим их в детский дом. Это же вполне реальная ситуация.

— Не так просто это все будет им сделать. Они не могут просто так прийти. Я найду способ противостоять этому.

— А как ты найдешь способы противостоять?

— В частности, с помощью тех же адвокатов. Это все тоже поле перераспределения бумаг.

— Ты же понимаешь, что если они захотят, то они сделают.

— С большим очень шумом. Я не думаю, что шум, который начнется вокруг зверского нападения исполнителей из комитета на невинных детей, будет оправдан их желанием доставить мне какие-то мелкие неприятности. Не думаю. Тут причины должны быть реальные. Все не совсем так происходит. Я действительно знаю, что когда государству надо, оно приезжает на другую территорию, Украину, и похищает там людей. На самом деле я не

знаю, что там и как было. Но суть в том, что когда надо, государство берет и делает, и потом его ничего не интересует.

— Если ты почувствуешь угрозу, ты как-то…

— Я предприму другие меры. Я не прекращу деятельность сам, потому что есть поле борьбы с этими бюрократическими, с этим аппаратами власти. Это область именования, это их слабое место, через это они начинают работать против самого субъекта власти, скажем так.

Прежде всего, правоохранителей волнует именование, чем это назвать, не политическим искусством, а называть это преступлением или психической патологией. Это первое.

А второе — нейтрализация, каким образом ликвидировать это. А ликвидировать можно несколькими способами. Можно каким-то образом припугнуть или еще как-то надавить, может быть, создать какую-то тяжелую атмосферу или обстановку.

Первое — человек сам прекращает. Второе — такой способ, его иногда применяют, но он менее нежелателен — изолировать, посадить куда-то человека. Почему они сами стараются его избежать, особенно в этих случаях? Так будет шума больше. Лучше, чтобы человек сам прекратил, без шума.

Хорошо. Сам не прекращает. Второй метод не очень желателен. Третий — человек эмигрирует. Это для них самый хороший выход, добровольная самонейтрализация. Ты эмигрировал, где-то в новом контексте, у тебя новые проблемы, тебе надо как-то осваиваться. Ты сам себя ликвидировал, как проблему. Ты там где-то очень далеко. Ну и все, замечательно. Все очень рады.

Я действительно думаю, что самый нежелательный способ — закрыть человека, посадить, изолировать. И, поэтому, может, это и не происходит? Поэтому, если будет какое-то давление, я сам не прекращу. Я найду, что сделать с детьми, еще что-то, как эту атаку на меня превратить в проблему для власти, буду способы искать.

— Давай поговорим про твоих зрителей. В одном из интервью украинскому телеканалу ты говорил, что искусство должно формулировать, потому что самим людям тяжело формулировать, так как государство их забивает. Твоя миссия — формулировать?

— Происходит рассеивание. Мы все, именно политически, находимся в схожей ситуации. В принципе с нами происходят какие-то конфликтные вещи, достаточно неприятные вещи. Вопрос в том, что происходит, что и каким образом. Все это так или иначе ощущают. Но проблема формулирования, то, что делают власти, — они рассеивают это. Человек читает новости,

идет в магазин, на улицу или обязательную работу, и он видит, что почему-то все это плохо, но это «плохо» у него рассеяно.

— Ты формулируешь это для своей аудитории?

— Да просто для тех, кто это увидит и услышит.

— Когда ты формулируешь, если ты хочешь, чтобы твой посыл услышали, ты должен делать какую-то поправку на стереотипы людей, на культурный код, на то, к чему они готовы. Мне кажется, что в итоге получается, что те люди, которые нуждаются в каком-то объяснении, они просто не способны считывать твой посыл, а те, кто способен, не нуждается в объяснении. И получается некоторая бессмыслица, что ли.

— Те, кто способен, не нуждаются в объяснении, а те, кто не способен…

— Зрители федеральных каналов, увидев твои акции, максимум испытают неприятные эмоции — неприятно, противно. Потом им скажут, в связи с чем ты это сделал. И это «неприятно и противно» как-то совместится с тем, для чего ты это делал.

— Я для этого как раз и работаю. У меня эти «ременные разрывы предполагаются, этот прецедент остается, а потом что-то происходит, и человек к этому возвращается. Мне писал один пользователь социальных сетей — в какой-то момент он был против, крайне против всего этого. Я что-то написал ему в ответ. И он рассказал в письме, что раньше много писал против, но потом столкнулся с какими-то ситуациями в жизни. Видимо, аппарат придавил где-то. Он теперь с этим действием согласен и стал извиняться.

— Тебе было приятно?

— Конечно, он подтверждает какие-то мои идеи.

— Это удивительный случай или такое периодически случается — я тебя понял наконец-то?

— Случается периодически, да. Тут работает диапазон человеческих реакций. Я могу сказать, что иногда я чувствую на себе весь этот диапазон. Когда готовится акция какая-то, у меня проносятся в голове разные общественные реакции в моменты большого напряжения. И когда ты как-то от него отстраняешься, есть понимание до какой-то степени. Почему даже в голове я могу это увидеть? Потому что одни и те же источники — Интернет, может, телевизор, газеты, еще что-то. Мы все питаемся из одних и тех же информационных источников. И с этим же диапазоном я позже сталкиваюсь, когда акция уже осуществилась.

И там есть как положительные, так и какие-то негативные реакции, естественно.

— А пока оно остается где-то в одинаковом…

— Оно всегда так будет оставаться, ты начала говорить — этот вопрос, что кто-то понимает, кто-то нет. Такая вещь, что если я начну мыслить такой категорией, что сделать тут надо понятным, а тут я должен так, то это будет популизмом. Я начну ставить задачу кому-то понравиться. Я не ставлю такую задачу.

— Это не задача. Это задача донести в какой-то минимальный срок, с ходу, на понятных символах.

— Тело, замотанное в колючей проволоке, что может быть понятнее? Ты понимаешь, что тут дальше некуда идти в смысле понятности, если так говорить.

— Мне кажется, когда среднестатистический русский видит, как человек на Красной площади прибивает мошонку, первая реакция необоснованная, он называет его эксгибиционистом или гомосексуалистом. Это будет первая русская реакция — с ним что-то ненормально. Он извращенец, а потому однозначно еще и гомосексуалист. В таких акциях ты не думаешь, не ощущаешь, что с самого начала суть куда-то замывают?

— Если ты о том, как пытаются влиять СМИ, то они без конца качают этот маятник между уголовщиной и безумием, поэтому всегда можно ожидать непонимания. Но другое дело, как это влияние отражено на людях, которые оказались рядом. Во время Фиксации одна женщина постоянно спрашивала: «Он что, больной?». Конечно, это довольно печально, что культ психиатрии имеет такую власть над общественным сознанием. Однако если действительно начинается разговор о психиатрической норме, то просто замечательно. Это то поле, которое должно прорабатываться. Это первое. Второе. За этим жестом… Я стараюсь по возможности не изобретать сам, не придумывать. Жест прибивания мошонки, в принципе достаточно основательно укоренен в культуре.)то жест, которые используют зеки.

— В связи с чем они это делают?

— В связи с разными ситуациями.

— Протест.

— Да. Доводят до крайности свое ограничение свободы. Невозможность движения. Там же часто полы деревянные. И они вбивают. И куда ты его сдвинешь? Человек и так сидит, а тут он еще себя прибил. И это фиксация. И понимаешь, когда я говорю в тексте про превращение страны в зону, про полицейский режим, это же не просто так говорится. 10 ноября — День полиции. Каждый год везде баннеры висят по городу — 10 ноября, да здравствует наша любимая полиция!

Все эти маркеры на поверхности. Я работаю с этими маркерами, потому что это часть культуры. Важно то, откуда это взято, если говорить о работе с контекстами. Без этого жест заключенных остается за этими заборами, дверьми и еще одними заборами. Из-за обилия заборов информация просто сюда не доходит, даже фотографии не найти, потому что их на зоне никто не буде делать. Все знают, что это где-то делают, но где-то за огромным количеством дверей. А тут это про исходит в самом центре. Хотя, по большому счету, была убрана очень условная граница.

10 ноября, баннеры, книги с воспоминаниями диссидентов и заключенных — это маркеры, которые все связывают в одно высказывание. Если этого нет, то проходящий мимо начнет думать: Красная площадь, голый, я не знаю… Я бы поспорил, голый эксбиционист, может быть… Я не знаю, насколько это работает — голый, почему голый, голый — человек, который лишен всего, даже одежды. Степень обнищания, показатель отсутствия.

— Беззащитности?

— Нет, не беззащитности. Там об этом не говорится. Голый — как выражение состояния, ободранный, голый, лишенный всего. Это, с другой стороны, тело вообще, это то, что находится под любой одеждой. Все равно одежда всегда тебя маркирует, это какая-то одежда. Какую-то идентичность начинает выстраивать. А тело — это тело. Все тела так или иначе похожи.

— Насколько полиция является частью твоих акций?

— Вообще очень важной частью. По большому счету, они сами все делают, они выстраивают все это. Там же все меняется местами.

— Когда тебя арестовывают?

— Нет, как они это воспринимают. Не мое тело оказывается жертвой. Все строится на том, что о исполнители власти на самом деле жертвы ситуации, потому что они находятся в наиболее подчиненном положении. Они должны подчиняться регламенту. Это работа с субъект-объектными отношениями. Правоохранители пугаются прежде всего, но они обязаны реализовывать свои полномочия.

— Они обязаны тебя освобождать.

— Что-то делать — или освобождать…

— То, что они власть и обязаны тебя освобождать, это является переворотом или что-то еще?

— Они становятся объектами этой ситуации. То есть они… Я думаю, что это важный момент: власть объективирует людей, заставляет подчиняться регламентам, как-то двигаться в

диапазоне дозволенного и как бы недозволенного, находиться в этом коридоре. Человек подчиняющийся — это объект. Когда осуществляется акция, они становятся объектами, возведенными в степень, может быть.

Помимо того, что изначально они объекты, исполняющие функцию, они еще становятся объектами искусства. Они хотят нейтрализовать, к этому их обязывают полномочия. У них задача нейтрализовать событие, ликвидировать, зачистить улицу или площадь. Но это вынуждает их служить противоположной цели. Они начинают конструировать событие. Они становятся действующими лицами. На них это все построено. У меня действие сведено к минимуму. Я просто сижу, ничего не делаю или стою.

— А если бы они не пришли, ты так бы и сидел на Красной площади?

— Да. Неизвестно, как событие будет развиваться, пока оно еще не произошло. Достаточно обозначить фигуру молчания. И сама ситуация конструируется вокруг этого молчания. Потому что полиция, «Скорая помощь» или просто люди, которые бы на меня напали или что-то еще, это все часть социального тела. Что-то происходит, отторжение — это тоже взаимодействие. Бессмысленна герметичная ситуация — сам пришел, сам ушел. Следующий важный момент. Я говорю со всеми одинаково. Я говорю с журналистами, с психиатрами, со следователями одинаково. Там есть определенные правила того, как это все выстраивается. Если придерживаться правила фигуры молчания и не давать отклик власти, то там не должно быть никакого взаимодействия. Я остаюсь статичным, а в тот момент, когда этап акции заканчивается, когда двери закрылись, тогда я начинаю говорить, и говорить со всеми одинаково. Я не делаю разницы между журналистом, которому я буду рассказывать все, и, например, следователем. Я могу, конечно, как бы издеваться над следователем, но это скорее не издевательство. Это я его в процесс искусства затягиваю. Что было с этими диалогами? Кто добился своих целей в той, этой ситуации — искусство или бюрократический аппарат? И я своим делом…

— А если бы в стране было все хорошо, что бы ты делал?

— Я не знаю.

— Получается, что, чем в стране все хуже, тем тебе больше работы?

— Я понимаю. Ситуация какая? Это несбыточная утопия. Никогда не может быть такого идеального общества и государства. Мне кажется, в природе людей есть определяющие вещи, субъектно-объектные отношения, понятие власти, эти вещи

все себе подчиняют.

— Тебе кажется, что власть не может быть адекватной, хорошей? Власть может быть хорошей?

— Я думаю, что нет, потому что задача власти — создать полностью предсказуемого индивида. Потому что непредсказуемый индивид — опасный индивид. Чем больше человек приближается к состоянию субъекта, чем больше он выходит из каких-то границ, ищет новое, он является опасным для власти, потому что он становится неуправляемым в этом случае.

— Ты протестовал бы в любой стране мира?

— Не так. Понимаешь, это разные контексты. Я не занимаюсь протестом.

— Протестное искусство?

— Политическое искусство. Я не занимаюсь протестным искусством. Политическое искусство и протестное искусство — это далеко не одно и то же. Протестное искусство — это вышел с плакатом. Там «НЕТ», а тут «ДА». Это было бы чрезмерным обобщением. Я исхожу из того, что политическое искусство — это работа с механизмами управления.

— Хорошо. Политическое искусство. Ты везде занимался бы политическим искусством?

— Я не знаю. Если бы я жил в другой стране, может, и не занимался. Исходя из того, как я сейчас мыслю, я бы, наверное, нашел чем заниматься. Но по форме, может, что-то близкое, потому что разные страны, разные системы контроля порождают разные способы подавления человеческого воображения.

— А есть модель или режим в государстве, который для тебя является идеальным? Может быть, анархия?

— Наверное, анархия — идеальная модель. Я отдаю себе отчет, что ее идеал держится на неосуществимости. Вряд ли человечество решится принести в жертву утопическому безвластию преимущества научного и технологического прогресса. Анархия — освобождение от каких-то парадигм, это сопротивление, опровержение тех или иных навязываемых правил. Анархия — как раз работа с понятием власти.

— Анархия наиболее тебе близка? Или еще что-то?

— Анархия в каком смысле есть повстанческий анархизм, есть какой-то еще анархизм. Наверное, близка в каком-то смысле. Анархо-коммунизм — это какой-то бред противоречия. Диктатура равенства против диктатуры свободы. Или одно, или другое. Сложно представить возникновение панк-культуры в режиме диктатуры всеобщего равенства.

— Ты хотел бы жить в государстве, где царит анархия?

— Не может быть государства, где царит анархия.

— Город. Где так все выстраивается. Есть анархия. И там все равно что-то выстраивается.

— Безусловно. Поэтому я и говорю, что анархия. Жизнь человека проходит в перманентной борьбе за свою субъективацию, за отстаивание себя, потому что всевозможные ресурсы, силы, интересы, в конечном итоге, других людей или кого-то еще, группы людей работают на эту объективацию, на подчинение. Даже если выстроится псевдоанархическая структура какая-то… То нее равно появятся группы или структуры, которые начнут все это превращать…

— Систематизировать.

— Да, превращать все это в костную массу. И лучше опровергать эти догмы, пока они не успели стать политическим разочарованием. История убеждает, что урок XX века не помешал кибуцам совместить светлую идею общности имущества и оборону разрастающейся и священной границы государства Израиль. И это надо опровергать. Это постоянное отстаивание себя. Это как бесконечный процесс.

— Возможна ли какая-то идеальная модель существования человека? Так, как видишь ее ты: никто тебя никак не узурпирует, ты не пересекаешься никак ни с чем?

— Мне сложно сказать. Это все от человека зависит. Человек должен преодолевать эти навязываемые ему…

— Глобально.

— Глобально — это движение к анархическом модели.

— После чего все опять запустится по кругу?

— Безусловно. Есть некий диапазон, конечно Как в песне:

«Все, что не анархия, то фашизм».

Мы все находимся между двумя этими точками. Фашизм, понятно, не в смысле итальянского или еще чего-то, а как имя нарицательное. Фашизм как абсолютный диктат, абсолютный контроль тотальный, и другая точка — анархия, некий абсолют свободы. На самом деле между ними — все колебание.

— А посередине — нормально идет, между этими двумя крайностями?

— Я никогда не задумывался, что посередине находится. Посередине — не знаю. Посередине унылый либерализм с его убогой политкорректностью.

— Я просто пытаюсь понять, какая цель у тебя в этом замкнутом, по сути, круге, ты понимаешь, что так, как было бы замечательно, не будет никогда?

— На самом деле, что меняет общество и что вообще дает какое-то преобразование? Не какие-то политические шаблоны и

схемы, потому что как раз работа с культурными кодами — это и есть самое важное. Смысловые прецеденты влияют на то, как человек относится к происходящему вокруг, это его рефлексы, выработанные по отношению к различным ситуациям. Какие у него ассоциативные модели на это срабатывают и какой он дает ситуативный ответ. Он просто может давать быстрый ответ, а может, подумав, принять решение. И это поле, на котором происходит борьба. Режимы, понятно, меняются. Был «совковый» режим, до этого была держава, империя, сейчас такой режим. При любом режиме силовики у власти. В 17-м была революция, были изменения, и в культуре были значительные изменения. И в искусстве, и в том, как отношения между людьми выстраивались. Лет 15 нее двигалось, а потом реакция, большевики всех задушили, откатили назад очень сильно.

— У тебя есть какая-то сверхидея в том, что ты делаешь, ты к чему-то это все ведешь? Какая точка межу фашизмом и анархией кажется тебе наиболее подходящей?

— Толкать все нужно в сторону анархии, безусловно, потому что…

— Чтобы что-то чуть-чуть сдвинулось?

— Чтобы хотя бы оставаться на месте, на самом деле уже нужно усилие. Но если сделать сверхусилие, можно немного больше сдвинуть. С другой стороны, в сторону фашизма и абсолютного подчинения двигает очень большая сила. На это работает большой ресурс аппарата, целая система органов. Это столкновение постоянно. Оно не прекращается. Для меня на этом отрезке и происходит лобовое столкновение. Смешно мечтать, что те силы, которые препятствуют, в конечном итоге растворятся, куда-то денутся, и мы тут резко окажемся в анархии разом и тогда будем жить в другой модели. Мне кажется, это более реалистичный взгляд на вещи Но если рассуждать теоретически, конечно, когда ты расшатываешь какие-то рамки, отодвигаешь какую-то границу, то очень помогаешь другим, тем, кто приходит следующим.

— А ты работаешь на общечеловеческую эволюцию? Типа всеобщее принятие чужой самоидентификации, что-нибудь такое.

— С этой точки зрения общечеловеческой эволюции я не рассматривал. Потому что, безусловно, все эти смысловые прецеденты и то, что происходит в областях культуры и искусства, все это работает с коллективной памятью. Я думаю, что, возможно, это имеет место быть. Я просто не задумывался. Понятно, что это эволюционные процессы, наверное. Не знаю. Интересно. Что вообще является эволюционным процессом?

— Когда мы перестаем травить гомосексуалов, когда мы окончательно отходим от дискриминации расовых меньшинств, когда стремимся к сокращению разницы между самыми богатыми и самыми бедными…

— Я просто не знаю, какое это отношение имеет к эволюции в том смысле, как эволюции именно развития. Понятно, что у нас влияет на развитие — научный прогресс. Но на научный прогресс, в свою очередь, влияет военная угроза. Или непосредственно война. Она заставляет науку открывать новое. Наверное, рынок тоже влияет, но война как-то открывает больше возможностей для прогресса научной мысли. Если вопрос отношения к пристрастием в сексе, то это вообще не имеет какого-то унижения от и до. Это касается каких-то областей контроля, просто политических режимов, идеологии. Это если исходить из того, что была Древняя Греция, Древний Рим, они были язычниками, и в отношении секса у них были одни обычаи. А потом пришла пасторская власть, христианство и его проповедники. Тут это не связано с историческим развитием, просто другая идеология.

— Тебе не кажется, что есть какие-то явления, например расизм, которые весь мир переживает, и к этому невозможно вернуться, так все сильно это пережили?

— На самом деле никто еще не пережил.

— Это все переживается.

— Переживается. И мы сейчас живем в ситуации, где этот шизоидный шовинизм, российский, я буду тебя ненавидеть из-за того, что у тебя такого цвета кожа или еще что-то, по таким совсем признакам внешнего. Это одна из крайних степеней нигилизма. И в этом смысле сейчас эти всевозможные нацисты, ультраправые являются этими нигилистами, которыми были в начале века левые и анархисты или кто-то еще. Мы сейчас живем немного в другой ситуации. Политические системы приняли, серьезно переварили, подстроили под себя, практически нейтрализовали левые идеи. Сделали их беззубыми. С этим как бы согласились, об этом как бы говорят, с этим как бы работают, и это является частью удобного времяпрепровождения. Все это, но только при условии соблюдения общественного договора и «как бы».

И сейчас этот ультраправый нигилизм, который говорит: я буду просто ненавидеть все во круг, я буду убивать, резать, тут это, там то. Голая ненависть. Святой Адольф — это не идеология чего-то там. Они могут ей прикрываться, но она еще не достигла пика, мы живем сейчас в ситуации инфильтрации. Мне кажется, что мир, эта система скорее как-то пробует эти правые идеи, каким-то образом пытается их обработать, чтобы их процедить и

сделать так, как и с левыми, чтобы усреднить и убрать из них это состояние: «Я крайний». Я буду убивать за то, что он просто не такой, как я. Тем временем со стороны Востока поднимается ИГИЛ. Поэтому националистический запрос выглядит вполне органично.

— Правые идеи без фанатизма?

— Их пытаются как-то таким образом приспособить, чтобы они перестали нести какую-то опасность. Также какое-то время назад купировали левые идеи. Сейчас есть множество как бы анархистов, еще кого-то, но все они прекрасно дружат с государственным порядком. Дружат, потому что не несут какой-то опасности — левые, социалисты — они вообще не несут никакой опасности для государства сейчас. Их пуповина тянется прямиком к государственным органам. Стоят на основании капитала.

— А толкая это, находясь на прямой между анархией и фашизмом, ты видишь, а художников (в широком смысле слова), которые стоят по ту сторону?

— Я думаю, что можно подумать. Я думаю, что много кто ее толкает в сторону. Тут надо подумать. Я думаю, кто.

— Если сразу не приходит в голову…

— Не приходит. Я думаю. Если в общем, то к фашизму толкает инстинкт власти. Любая власть держится на убежденности в превосходстве. А если о том, кто из художников этому прислуживает, то это практически все искусство институциональное так или иначе.

— А институциональное, это какое?

— То, которое привязано к капиталу, стоит на его основании. Я объясню: то, которое привязано к залам, определенным формациям. Скажем так, все, что зависит от фондов, грантов, меценатов, директоров выставочных залов. За этим искусством стоит капитал, оно служит декорацией к любым имперским амбициям. Огромный пласт того, где все строится за счет компромиссов и удовлетворения интересов…

— Церетели толкает?

— Церетели? Наверное, конечно, толкает. Да, толкает. Просто такие фигуры настолько очевидно это делают. Они не являются штурмовиками в случае этого сражения, потому что лобовые атаки совершают агенты, те, кто находится внутри. Те, кто хочет казаться своим. Это скорее те, кто находится неподалеку и как бы говорит о современном искусстве и о каком-то политическом искусстве.

— У тебя здесь, в России, есть оппоненты в политическом искусстве?

— Это все оформительское искусство.

— Конкретный человек?

— Нет, у меня нет конкретного человека. Я имею в виду оформительское в широком коп тексте. Те, кто оформляет режим и строит декорации. Можно брать, смотреть, кто, что… Я думаю. Понимаешь, говорить об одном оппоненте — нет. У меня нет одного оппонента. Понятно, что было бы удобно назвать Церетели врагом — он оформитель. И очевидно, что он строит декорацию. Однако почти весь обслуживающий персонал, который выпускается из государственных художественных вузов, строит ее или поддерживает. В этом случае Мединский и Церетели сами давно исполняют функцию этой декорации. Они куски этой ширмы. Что о них как о врагах можно сказать? Это тривиально, но все равно главным врагом остается компромисс. Можно взять всех художников, которые создают продукт на продажу. Конечно, они являются оппонентами, потому что они подменяют смысл искусства полностью. Цель их действия сводится к осуществлению выгодной сделки. Они говорят о том, что создание искусства — это создание продукта.

— А можно создавать продукт и заниматься искусством параллельно? Вот тут я продукт делаю, на жизнь зарабатываю, а тут я искусство делаю?

— Это вопрос со смыслом и формой выражении этого смысла. Нет. Продукт — это продукт. Как честным быть? Надо говорить: «Я создаю Продукт, и все».

— То есть невозможно отделять — тут искусство, тут продукт?

— Почему, ты можешь так делать, все зависит от тебя. Скорее всего, у людей это не получается. Это обман себя. Человек всегда отдает свое время. Те, кто тратит время на создание продукта, у них эта работа забирает самую продуктивную часть времени. Сказать, что это вообще невозможно, я не могу. Был писатель Франц Кафка, который работал клерком…

— У него был разный предмет искусства и ремесла.

— Да. Если Кафка, то можно и совмещать.

— Дали, к примеру. Делал рекламу, конкретно монетизировался.

— С точки зрения искусства он большую часть жизни не делал ничего интересного. Он очень мощно начал и был почти в авангарде сюрреализма вместе с Бретоном, Бунюэлем и Андалузским Псом. А потом его сожрала Гала, ее ненасытное желание роскоши и богатства. Коммерческий успех обрек его на производство фешенебельного китча. Это тоже пример смыслового предательства, получается, что Дали говорит: «Цель

искусства — это большие деньги». Сальвадор Дали — это, наверное, американский вариант российского Зураба Церетели. И тот и другой — кульминация продуктивного в своем заработке художника. Это про успех и про то, что такое успешный и зарабатывающий деньги художник. Это неинтересно. Хотя, если бы Церетели приблизился в своем поведении к тому, как изворачивался Дали, то царство российского китча перестало бы быть таким унылым.

— Мне не кажется Церетели искусством.

— Дали — это тоже что-то такое.

— Дали симпатичнее.

— Он просто подстелился под консервативный режим Франко и превратил сюрреализм в жестокую пародию на все движение сюрреалистов. Это, кстати, довольно интересно, ведь он своего добился теперь во всем мире понятие «сюрреализм» ассоциируется с его именем и высосанными из пальца замысловатыми картинками, а не с автоматическим письмом и именем Андре Бретона.

— Я так понимаю, что тебе чуждо все материальное?

— Мне? Почему? Я ношу одежду…

— Я понимаю, что ты не ходишь голым по улице. Но всякого рода монетизация…

— Да. Тут все непросто, потому что деньги несут большую смысловую нагрузку, на все накладывают. То, откуда, куда…

— На что ты живешь?

— На что? Лекции — это какие-то деньги.

— Ты регулярно читаешь лекции? Как у потенциального читателя, у меня возникает такой вопрос: на что человек вообще живет? Делает акции — это круто. А на что он живет?

— Какие-то деньги могут появиться с лекций.

— Мне кажется, что ты их как-то не так часто читаешь.

— Не так часто. И не так много. В промежутках между этим мне помогает ротация вещей. Есть вещи, которые необходимы. Есть схемы получения вещей. По большому счету, населению навязывается одна схема — это работа, зарплата, потребление. Ты отдаешь свое время, единственное, что у тебя вообще есть, твое время — то, что у тебя это забирают каждый день, а отдают меновую единицу, рубль или что-то еще, и дальше ты приобретаешь. Но это не единственный способ, который способствует движению собственности в мире людей. Вещь можно подарить, можно обменять, можно украсть. Есть много способов перераспределения собственности. Можно ходить на работу, долго копить деньги, пойти в магазин и купить. А вещь может просто отдать кто-то, потому что она ему не нужна.

— Бартер?

— Бартер. Ты можешь пойти и украсть вещь, если у тебя есть определенное отношение к месту и вещи. Например, блокноты «Moleskine». Я бы всем советовал воровать блокноты «Moleskine». И лучше успеть это сделать, пока количество датчиков для сигнализации не успело превысить число страниц самого блокнота. Это паразитический бренд капитала. Жир, которым сочатся сотрудники этой корпорации, — это имена тех, кому приходилось спать на земле и нечего было есть. Там на сайте написано: «Moleskine знают многое о непростой жизни Ван Гога». «Moleskine» понимает знание непростой жизни как надбавку виде 800 рублей за один экземпляр. Убогое обогащение за счет чужих идеалов. Магазины, которые сотрудничают с этим брендом, просто демонстрируют свою поддержку идее такого обогащения.

— А дети с тобой живут?

— Да. Мы тут тоже стараемся не фиксироваться. Большую часть они живут с нами. Могут пожить со мной, могут с Оксаной, разные ситуации, когда мне нужно работать одному, они могут жить в другом месте. Или я ими занимаюсь, если Оксане надо какие-то вещи прорабатывать, я могу с ними куда-то поехать и пожить или кому-то детей оставить.

— А что ты даришь детям на день рождения?

— Игрушки какие-нибудь. Что хотят.

— На них ты прямо копишь?

— Нет. Если есть деньги, покупаю. Или в этот момент какая-то другая ситуация, у меня у ребенка день рождения 23 февраля. В 14-м году мы в этот день осуществляли акцию. Мы подумали, что пусть праздник свободы и будет ей подарком. Покрышки горят — дети радуются! Мы их оставили у других людей, у знакомых. Это не является чем-то обязательным, мы все не фанатики кружения вокруг детей. У меня день рождения ребенка, все отменяется!

— Но ты же их любишь, хочется что-то им подарить особенное.

— Я думаю, горящие покрышки — это и есть что-то особенное.

— А тебе приходилось деньги когда-нибудь просить у незнакомых людей, на улице, какая-нибудь ситуация?

— Может быть, жетон, но очень давно. Единственное. Я помню, у меня не хватало на жетон куда-то. А так нет.

— А курсы как ты оплачиваешь?

— Они бесплатные. Это касается вещей, ротаций и договоренностей с людьми, потому что, если ты хочешь, чтобы твой ребенок занимался где-то, надо об этом договариваться.

Здесь все ситуативно. У меня нет принципа жить без денег. С деньгами или без них — это две стороны потребительской возни. Я думаю, что нельзя позволять забирать свое время.

— Не зацикливаться на них?

— Не зацикливаться как на получении денег, так и на жизни без денег. Это две крайности. Есть то, ради чего и вокруг чего вся эта бойня происходит — из-за времени. За что ты отдаешь время. Потому что время — это единственное, чем каждый обладает, ресурс, который поддается числовому исчислению. У каждого есть года, минуты, часы. За это я бьюсь — чтобы я мог время отдавать той работе, тому делу, которое я выбрал. Если в сложной ситуации необходимо идти и выносить еду, я буду это делать. Иначе я рискую стать жертвой синдрома выученной беспомощности. Это к чему человека приучает государство и его образовательная система.

Даже самый безобидный зверь в лесу в состоянии добыть себе пропитание. Только одомашненный скот подыхает, если оставить его без присмотра и опеки. Сдыхает от голода и собственной беспомощности. Он приучен получать корм с хозяйской руки. Туша и индивидуальный загон животной покорности. И еще важный момент — чувствовать себя в разных ситуациях. Когда ты оказываешься совсем без денег, ты оказываешься в шкуре большинства людей, человеком, который выживает. Тогда начинаешь совсем по-другому на все смотреть — на магазин, на охранников, у тебя меняется отношение. Потом прочитал лекцию, у тебя ситуация изменилась, и ты вот так, меняя свое положение, понимаешь эту механику — как люди живут, что они чувствуют, какими интересами они живут.

— Ты говорил, что твои дети занимаются борьбой. А когда?

— То, что они кик-боксингом занимаются?

— Да.

— Я задам вопрос. Ты в последний раз дрался сам?

— Чтобы специально спровоцировал, то давно. Наверное, классе в 10-м, когда-то там.

— А из-за чего?

— Я не помню. Это был какой-то 9-й класс, на самом деле у нас был период, я не помню, из-за чего дрались, ходили, провоцировали одноклассников и каких-то пухлых детей из старших классов. В школах подростки постоянно вынуждены изобретать, чем разнообразить мой день.

— На стрелке?

— Нет, просто в школе, идешь, кого-то провоцируешь и дерешься потом. Были такие вещи.

— Ты победил?

— Тогда — да.

— Когда не победил?

— Когда меня избивали? Сейчас я вспомню. В детстве, лет в 6, меня как-то побили. На самом деле, меня никогда до нокаута не избивали. У меня были психологические проигрыши. Психологические проигрыши — кто первый ушел. Я помню, была ситуация, классе в 4-м, мы во дворе с одним парнем часа полтора дрались. И он меня, конечно, победил, он плакал, но все равно шел. Я его бил, а он все равно продолжал. Он был в крови, но все равно продолжал. Он меня победил, просто я вынужден был каким-то образом от него убегать, потому что он на меня шел, шел. Он победил. Можно, конечно, человека забить, но просто я с этим не встречался ни разу, чтобы меня избили, и я без сознания где-то валялся. Обычно кто-то прекращал.

— А ты готов в какой-то ситуации признать, что слова уже ничего не будут значить, и надо просто человека ударить? Как в песне у Цоя.

— Ситуации, когда надо ударить? Какая ситуация?

— Ты понимаешь, что ты не готов решать словами: «что будут стоить тысячи слов, когда важна будет крепость руки».

— Конечно, если какая-то ситуация, когда слова заканчиваются. Методы не заканчиваются словами. Как-то охранник в магазине в меня вцепился. Россия — страна охранников! Когда мы с ним столкнулись, он решил меня дубинкой побить. Кожу на голове мне рассек. Нос пришлось ему травмировать. Дубинку я у него все равно забрал, решил, что она должна у меня остаться. В качестве трофея. Это 1 мая как раз было — День всех трудящихся.

Разговор второй

— Ты в прошлый раз говорил о фотографиях.

— Да, смотри. Я расскажу. Это документация с «Фиксации». Не так много фотографий, штук 15 наверно. Полицейская машина была совсем неподалеку, но пока они опомнились, кое-что удалось снять. На фотографиях видно, как полицейских становится все больше, уже подъехала машина — это все развивается по ходу документации. Правоохранители совещаются, не знают, что дальше делать. Вот это их тупик. Задача, которую я каждый раз ставлю — поставить власть в тупик. Самим действием. Человек сидит и смотрит на свои прибитые к брусчатке яйца.

Следующее. Они ничего другого не придумали и закрывают тело тряпкой. Но пространство уже изменено, они части этой ситуации. При этом полицейский всегда пытается выполнить свою задачу — блокировать, нейтрализовать, но безвольно он становится действующим лицом. Чтобы обезопасить свой праздник, полиция оцепляет площадь.

— Это тебя так оцепили?

— Нет, тут строители строили что-то, какую-то штуку для катка. А тут они лентой обтянули и поставили охрану. Полномочия заканчиваются, и они задействуют другой инструмент — медицину. Они всегда прибегают к помощи медиков. Это не рука помощи, это такой же рычаг власти. Ну и все, на тот момент они действие ликвидировали, фотографов выгнали, у прохожих нет возможности ничего видеть. Но при этом стали объектами исполнения, помогли построить изображение.

Они переходят к следующему этапу нейтрализации. Возбуждают дело. Это, по большому счету, продолжение одного большого процесса. Их задача нейтрализовать, чтобы человек вообще прекратил свое дело и отказался от всех идей. Сделать его бездейственным. Например, какими-то обстоятельствами спрессовать либо испугать. О возбуждении дела я узнал из СМИ, начал получать письма с призывами уехать, эмигрировать, срочно спастись, подумать о детях, о себе.

— А тебе кто-то предлагал конкретную помощь?

— Мне писали люди какие-то.

— Выслать приглашение в США?

— Примерно так: «Приезжайте, мы поможем». Я вежливо отказывался, потому что это будет работа на власть.

— Мне было просто интересно, насколько конкретные

предложения.

— Приезжайте к нам, приезжайте сюда, я могу помочь в этом и этом.

— Это из других стран? Или из России?

— Кто-то русскоговорящий из Америки, еще откуда-то. Многих в такой ситуации ведет, и они прячутся. Если испугался в тот момент, то власть выиграла.

Но неожиданно происходит событие, которое надо увидеть. Это подпись следователя, который возбуждал дело. Возбуждение уголовного дела, постановление — это знак репрессии. Это Капнин Р. А., дознаватель, ОВД Китай-город.

По поводу подписи. Акция «Туша» была сделана на полгода раньше, чем «Фиксация», или даже больше. В «Туше» я говорил о репрессивной законодательной системе — этой подписью они связали акции на другом уровне, сами подтвердили точность найденного мною знака. Я считаю, что это очень интересные находки. Дело порядка 500 страниц.

— Что там можно было написать?

— Я его смотрел, какие-то вещи фотографировал. Это как очень большая экспертиза, которая полгода длилась.

Я сейчас расскажу. Они хотят нейтрализовать, ликвидировать.

— А сами раздувают.

— Они не просто раздувают, они открывают мне дверь в эту механику. Политическое искусство работает с инструментами управления, власти, контроля. Инструменты становятся материалом. Помимо открытых дверей внутрь своего механизма, исполнители начинают отдавать мне материалы, которые до этого пытались блокировать. Без этого мне не попасть было бы туда. И гам я нахожусь внутри этого механизма. Когда и начинаю встречаться с этими следователями, эти бумаги изучать, я начинаю понимать, как работает прокуратура, суды, системы органов. Они мне открывают двери.

Через эти бумаги видно то, чем они оперируют, — риторикой канцелярской заботы. Они довольно подробно все описывают. «Покинув площадь, забрали… Осуществляя охрану общественного порядка возле памятника Марксу, поскольку каждые выходные дни возле данного памятника проходят митинги. И воскресенье не стало исключением».

Мне кажется, что надо включить интересный фрагмент. В этом деле есть 50 страниц заявления. Там нашелся один человек из общества «Фонд борьбы с русофобией», я не знаю, может, они уже закрылись, это некая группа активистов, которые очень хотели под очень большие деньги подстелиться под власть. И

одним названием уже так активно стелются — «Фонд борьбы с русофобией».

— Им нужно было дальше, чтобы кто-то на тебя накатал заяву?

— У них бывший мент, один из учредителей и глав этого фонда, написал заявление на 50 страниц и предложил еще 4 уголовные статьи на меня навесить.

— Какие же статьи?

— Тут об этом рассказывается.

1) вандализм. Он перечисляет, почему вандализм.

— Брусчатку травмировал?

— Интересен его взгляд. Там был взгляд полицейского. Взгляд видеокамер. Теперь описание заявителя, человека, который был настолько душевно травмирован, что не поленился написать 50 страниц заявления. Он такую работу большую проделал. «Налицо факт вандальных действий, морально-нравственные, интеллектуальные: и экологическое и историческое восприятие сооружений, очевидно нарушены права граждан на посещение Кремля».

2) надругательство над телами умерших и местами их захоронения, мест захоронений.

Дальше он пишет: там захоронено 400 человек, и я надругался над всеми 400 людьми, потому что рядом Мавзолей. Дальше приводит факт захоронений от 1960 г., список весь этот. Мне кажется, я бы это не захотел в книгу. Слишком много фамилий.

Следующее: статья экстремизм, потому что он услышал в публичном заявлении, что власть и чиновники грабят население и совершают антиконституционный переворот. 282 ст. Подпадает под действие — возбуждение ненависти либо вражды. Это идет.

Более того, Красная площадь и Кремль являются историческим центром Русской православной церкви. Собор Василия Блаженного стоит уже почти 500 лет. Поэтому он увидел там еще и оскорбление чувств верующих.

Прикольно пишет: «при этом это обращение не преследует своей целью провоцирование действий, направленных на лишение Павленского П. А. свободы — НЕТ!». Он пишет, пишет, пишет, и — НЕТ! У него нет этой цели.

Потом этот заявитель еще и мой текст к акции анализирует. Он начинает анализировать ни слова: «беспредел», «зона», «произвол», «власть», «полицейское государство». И дальше они рисуют на карте крестик и пишут — место свершения преступления. Это борьба за именование. Что власть хочет сделать? Чтобы об этом говорили выгодным для власти образом.

Не место проведения акции, а место совершения преступления.

Следующий вопрос в логике власти, является ли прибитая мошонка преступлением, или это является попыткой суицида? С одной стороны, преступление, с другой — может быть, психическая патология. Попытка суицида — «лайф-ньюс», министр культуры посоветовал обращаться за советами в музей психиатрии.

Дознание принимает подсказку, и они начинают собирать экспертов, психиатров. И через какое-то время, через месяц или несколько месяцев, назначена судебно-психиатрическая экспертиза. Власть через статус экспертов. Например, стаж 13 лет или 38 лет работы, и их мнение имеет судебную власть, оно становится полномочным объявлять о безумии.

А теперь язык психиатрии. Как видит психиатр. Это первый.

— А у тебя было три психиатра после Фиксации?

— Нет, у меня было много. После каждой акции. Освидетельствований штук 8 плюс экспертиза эта. Много. Это после последней акции, Отделения, было три освидетельствования.

А теперь язык психиатрии. «Отмечалось, что собрать анамнез затруднительно». Это то, как они говорят, то, вокруг чего ведется борьба.

«Погружен в бредовые переживания, протестовал против засилья полиции, считал себя художником». Не важно, что ты дальше говоришь, если твои слова предваряет: «погружен в бредовые переживания».

Психиатр сидит с тобой так же как мы сейчас, просто общается. Он болтает с тобой, как простодушный человек, он не показывает своих намерений, а потом диагностирует вообще все, что ты ему говорил, проецирует через оптику патологии.

Если ты открыто говоришь, что ты телевизору не доверяешь, все, у тебя уже завышенная самооценка. Ты кто вообще такой? Если у тебя в жизни есть идея какая-то, все, у тебя экспансивно-шизоидные проявления со склонностью к сверхценным образованиям с идеями реформаторства. Но это не всегда так, например, первая психиатр, с которым была встреча после акции «Шов». Это, наоборот, женщина, которая встала на мою сторону, мне рот еще не расшили.

— Диагноз какой?

— Зашит рот.

— Нет, диагноз в конце? Что это такое?

— Тут написано, наверное: «Колотые раны верхней и нижней губы». И дальше психиатр пишет: «Психически здоров». Это взгляд психиатра, который поддержал, моим диагнозом стала ее

позиция.

Дальше документация акции «Туша». Хронологически акция была осуществлена раньше чем «Фиксация, но я решил изменить порядок. Я думаю, что интересно двигаться в бюрократической логике. А бюрократы сначала возмутились «Фиксацией», потом возбудили дело, и только потом удачная подпись дознавателя Капнина связала дело с акцией «Туша». Теперь фотографии. Сначала это два элемента — тело и металл. Потом появляется тряпка, эти полицейские суетящиеся, они сама власть, которая втягивается в пляску собственного опровержения. Они начинают бороться с металлом. Они его боятся. С другой стороны, им хочется как-то накрыть, спрятать, они не знают, что с этим делать, борьба идет. На видео лучше видно. Они ее разрезали, потом опять кидают тряпку, а тряпка каждый раз цепляется, им ее тяжело содрать. У них идет борьба с материалом. Опять ее кинули. Фотографам говорят: «Все, не снимаем».

В конечном итоге они нашли способ ликвидировать. Потащили меня к парадным дверям. Это такой почетный и самый главный вход в Законодательное собрание, в которое они меня втащили, а потом выводили. По-моему, очень торжественно получилось. Тут есть важный момент — медицина как инструмент власти. На фотографии видно — полиция отстранилась, ситуацией руководят медики. Полиция все время к ней обращается.

Медицина — такой же орган власти. Дальше консультация с дежурной психиатрической бригадой, больница. «До очной консультации психиатра вы были помещены в клинико-диагностическую палату ввиду того, что ваше состояние представляло непосредственную опасность для вас». И опять эта забота о безопасности. А то, куда они меня поместили, пожестче любого обезьянника в отделе полиции. Это не место с лежанкой и решеткой, это алюминиевый бокс, все металлическое.

— А окна есть?

— Одно зарешеченное окно и второе, из очень толстого стекла, смотровое окно, за тобой смотрят.

— Ты один там был?

— Я один там был. Я там находился несколько часов. «Вы представляли непосредственную опасность для вас». Можно все этим объяснить — ты опасен для себя, поэтому мы поместим тебя туда, мы же заботимся о твоей безопасности.

Теперь «Свобода», это мост около Спаса-на-крови, где Александра II народовольцы завалили. Он тоже подавлял разные освободительные восстания. Это был призыв — 23 февраля, встаньте на праздник Майдана и защиту своей свободы. По

большому счету, высказывание строится на бдительности горожан, пожарных, работников коммунальных служб и прочих придатков власти. Социальная ткань сама себя диагностировала. Ликвидируют огонь в России четко, а разжечь его почти невозможно. Российское законопослушное уныние в сравнении С украинским Майданом. Это же было практически в то же время. Они только 1—2 дня как победили.

Все начинается с рапорта. Недостающий элемент — Курочкин. Реставратор Курочкин ехал в храм. Они записывают в рапорте его показания. Курочкин — важный персонаж в деле. Он транслирует волю власти. Она говорит его показаниями. Это и есть система ценностей режима. Курочкин оказался не рядовым заявителем или кем-то еще.

— Он оказался специалистом?

— Он архетип этой системы ценностей. Этот Курочкин — реставратор. Он всю жизнь посвящает консервации. Он ненавидит ход времени и всегда устремлен назад. В прошлое. Реставрация режима, реакция. Курочкин в 8 утра ехал с семьей на службу в храм. И он расценивает праздник как проявление вандализма. Он возмущен.

— Разве это не абсолютно нормальная реакция обычного человека?

— Что ты подразумеваешь под словом обычный человек? На самом деле ни в коем случае. Курочкин оказался знаком. Эталоном соответствия.

Это показания свидетеля Курочкина, которым выступал на одном из судов (*см. в приложении*)] А какой-то дворник, которого они притянули. Узбек, говорил плохо по-русски, он дворником работал. Его спрашивали: «Что вы с утра увидели?» Судья его подталкивает к чему-то. «Я смотрю, горит так все, светло, думаю — праздник начинается». Из-за того, что он просто меньше телевизор смотрит, он меньше подвержен влиянию пропаганды. Плохое знание языка стало его защитой. Дело в том, что он не знал, что его обязывают это транслировать. Он не знал, что от него хотят. И он сказал: «Праздник». Это чистый взгляд.

— А чистый ли это взгляд? Или это взгляд узбека, который не хочет связываться?

— А ему какая разница? Во что ему ввязываться? Он на суде по административному делу, его попросили рассказать, что он видел, и он ничем не рискует. Публики нет, журналистов тоже.

— Жженые покрышки не ассоциируются с праздником.

— Он действительно подумал, что это праздник. Он увидел огонь, флаги, он видел, что… Он слышал шум, ритм. Он как раз услышал утренний набат, призыв и воспринял это как праздник.

А Курочкин, он ездит в храм, он хорошо знает, что нужно говорить. И он транслирует это, потому что он и есть функция. Он транслятор. И он, конечно, так возмущен, что даже смог увидеть в темноте с пятидесяти метров повреждение позолоты. Это, естественно, ложь, он не мог этого увидеть. Но он может дать именование. Курочкин видит вандализм.

Искусство может противодействовать этим аппаратам. Вполне очевидно, что если им нужно закрыть человека, у них много возможностей для изоляции. Однако весь смысл в именованиях. Кодов, которые предписывают порядок действий. Того, что является областью понимания любых событий. Понимание предваряет действие.

— Ты говорил, что искусство может противостоять каким-то образом. Поясни.

— Да.

Я делаю этот вывод из своего столкновения с комитетом.

Пока я вижу, что пока ситуация скорее для меня более выигрышная, что они теряют больше, чем получают во всем этом деле. Они хотели закрыть меня на стационарную экспертизу от месяца до трех в психиатрическую больницу. Достаточно времени, чтобы кого угодно объявить сумасшедшим. Столкновение было вокруг этого. Есть разные способы работы с этими аппаратами. Например, регламент молчания объявить.

Суд весь построен по регламентам. Я объявляю регламент молчания в суде, и это начинает действовать на судью. Все вместе действовать — и дело, и позиция, потому что это уже не повседневный конвейер судопроизводства. Беспокойство заставляет судью думать. Полиция во время акций тоже вынуждена думать. Они каждый раз сталкиваются с ситуациями, которые нетипичны для полномочий.

— А ты в суде молчал полностью?

— Да, молчал. С этих судов психиатрии я начал пробовать эти тактики, регламенты молчания.

Первый судья отказал комитету: «В связи с необоснованностью». Тогда как раз первый следователь уволился. Следующая появляется следователь, Климентьева. И она начинает настаивать. Видимо, начальство начинает давить ее, чтобы она заставила пройти меня психиатрическую экспертизу. Она начинает сначала постепенно — одна повестка, она вызывает, вручает повестку, просит, нужно прийти, нужно пройти. Я повторяю: «Отказываюсь проходить экспертизу».

— По тому же делу?

— Да, по вандализму. Я тебе объясняю. Поскольку это для материала, где я не буду комментировать то, что судья

записывала. Проведение экспертизы невозможно с неявкой. Следующее. О приводе. Не удалось доставить. Они все более одержимы. Их одержимость начинает приобретать оттенок безумия.

— Это после акции «Свобода»?

— Да. Это было начало осени где-то. Невозможно в связи с его отсутствием. Здесь через судью рассказывается история Следственного комитета и их одержимости. Тут важно смотреть по числам. Дело. Снова постановление. Это 3 октября. Повестка. 7 октября.

— Они же могли обжаловать бумажку, в которой они окончательно отказали? Там же было — в течение 10 суток можно обжаловать. Почему они ее не обжаловали?

— Потому что первый следователь уволился. Позже он стал адвокатом и даже хотел меня защищать по тому же делу, которое сам начинал расследовать. Это было хорошее начало суда по вандализму — бывший следователь и адвокаты пыли намерены убеждать судью, что преступления нет. Конечно, судья испугалась такого поворота и запретила ему быть моим адвокатом и этом процессе.

Но суд по вандализму начался только через год, а когда он только уволился, дело взяла другая следователь. Она с этим делом была не знакома, ей, видимо, нужно было время. Это не совсем та машина, которая слаженно перемалывает. Гам тоже происходят какие-то сбои. Потом следующее судебное разбирательство, следующий суд, на котором я опять объявил регламент молчания. Там уже был другой судья.

И тут неожиданно следователь отзывает свое ходатайство. Я сначала не понял, в чем дело. Жест доброты? Нет, они отозвали его только для того, чтобы через неделю начать еще один судебный процесс с новым судьей. Меняют судей, как медицинские перчатки.

— Они снова обратились в суд?

— Да, они обратились второй раз в суд. Второй судья, видимо, хотел отказать им. И следователь решила опередить его, отозвала ходатайство, чтобы подать снова.

— Суд не случился?

— Суд случился, было одно заседание, а на следующем она отозвала.

— А судья был тот же, что и первый?

— Нет, это уже другой судья, тот отказал. Один отказал. Назначили через неделю, рассматривается ходатайство у другой судьи. Я был почти уверен, что нашли судью, с которым они как-то договорились, и что я поеду на стационар.

Но неожиданно суд отказывает следователю и прокурору в третий раз. Четыре месяца понадобилось на то, чтобы бюрократическое безумие уперлось в тупик. Сегодня между органами психиатрии и МВД остается разрыв. Разорванным органам производство сумасшедших дается сложнее. Прокуратура заявляет: «Мы будем подавать в следующий раз. Мы должны получить поддержку суда».

Есть методология действия внутри этой механики. Когда я разговаривал с первым следователем, он постоянно напоминал о своем желании: «Вот, мы с вами разговариваем, надо это как-то документировать, надо фиксировать». Он имел в виду протокол. И нашелся простой способ его сокровенное желание выполнить. Я записывал на диктофон то, о чем мы говорили. Просто он хотел, чтобы об этом узнало совсем немного людей — он, его начальник, адвокаты и еще судья. А я сделал его доступным для широкой общественности.

Новая следователь хотела, чтобы психиатрия помогла ей расправиться с неудобным для ее начальства мышлением. Я пошел ей навстречу и сам поехал в Институт имени Сербского. Это было через 2 дня после третьего суда по психиатрии. Это был способ исполнить сокровенное желание нового следователя. Это акция «Отделение», сегрегация общества на разумных и безумных больных, только забор разделяет — там ты или не там.

Это еще одна сторона. Есть визуальная метафора, понятно — голый человек, отделение или фиксация, или человек в проволоке. Но между всем этим есть общее — травма маленького человека в тюрьме повседневности. Если посмотреть на изображения, там это есть. Маленький человек — голый. Это разговор о простом обывателе.

— А как ты туда залез?

— По лестнице. Принес. Это то, что остается за кадром. Для меня что важно? Важно, чтобы произошло совмещение контекстов, в данном случае политический контекст во Франции в XIX веке. Ван Гог, психиатрическая власть и через это выход на столкновение внутри института психиатрии. Им мое тело нужно было. Вот оно. Я им принес тело и еще часть тела оставил. Повседневный гражданин находится в этой тюрьме, в этом загоне животной покорности. Мне кажется, это считывается.

И эти участники. В последней акции их довольно много собралось. Представители власти собрались по приказу, и им предписано что-то делать. Полиция перекладывала на психиатрию, психиатрия на полицию. Они встретились и говорили: «Это ваш. Нет, это ваш, идите и сами его снимайте, разбирайтесь». Их больше и больше. Эмчеэсники появились. Они

как-то должны решать этот вопрос, что произошло в царстве их регламента, где государство всех расставило по своим местам. Одни тут сидят, а другие там.

— Появляется спорный элемент.

— Он один и на самом деле небольшой. Появляется несоответствие. Оно вызывает движение, оно все меняет. Оно подрывает регламент.

Ты спрашивала тогда, что бы я делал, если бы никто не подходил. Эта акция была довольно сложной, к концу второго часа у меня ногу свело судорогой, потому что там было холодно. И они начали меня провоцировать в том смысле… Это я только потом уже узнал, что у них это было как часть плана захвата, чтобы отвлечь внимание и подкрасться сзади. «Давай, слезай уже, замерзнешь». Они принесли маты. Эти маты и есть как бы забота о безопасности. Это и есть ломка человека.

Я на это не повелся. И это очень важно — то, для чего необходимо искусство, в частности, политическое. Для чего нужны эти события. Что мне было делать в той ситуации, когда холодно было сидеть на заборе и тело отказывалось продолжать. Вокруг люди тепло одетые, они мне заботливо приносят маты, прекрати, уступи нам. Ты понимаешь, что произошло бы, если бы я стал с ними общаться или спрыгнул на маты? Я бы прекратил.

А на что мне было опереться? В тот момент и вспомнил о людях, которые держали голодовки. Человек лежит, держит голодовку. Ему приносят тарелки с едой — на, поешь давай. О нем как бы заботятся. На самом деле его хотят уничтожить этой заботой. Это другая сторона заботы о безопасности. Те люди оказывались в ситуации, по сравнению с которыми эта ситуация — несколько часов на прохладной улице — смешная просто.

Я опираюсь на это и продолжаю действие. Это мое убеждение, для чего нужны прецеденты политического искусства. На что опереться человеку, когда вокруг все направлено на то, чтобы его сломать? Я опираюсь на поступки других людей. И я надеюсь, что на мои действия тоже кто-то сможет опереться.

Это очень важный момент с заботливо предложенными матами. Они уже подкрались. В документации полицейские получились, как мясники с ножами, с мордами зверскими. Все упакованы в бронежилеты.

Они просто напрыгнули сзади. Но это не одно и то же — так меня снимали, или я бы сам слезал. Я думал, что это стена. А это оказалась крыша. Внутри у них помещения, а тут выглядит, как стена. В Интернете потом нашел интересную фотографию Института Сербского. Кто-то снял внутренние дворы. Там вокруг жилые массивы. Сербского выглядит не совсем как жилой, но не

такой уж и пугающий дом. Все спрятано внутри, там прогулочные камеры без крыш, очень жестоко опутанные колючкой, они выглядят, как бетонные загоны. И все, охран.» уносит маты.

Они проиграли во всей этой ситуации, потому что мне было на что опереться. Это победа, конечно, в этой истории с матами.

Язык психиатрии. В этих документах надо смотреть на время, сначала: «Острое психическое расстройство, неутонченное». Подключаются медиа — ищут новость. Здесь их исполнительность сработала в пользу искусства. Например «лайф-ньюс», они с «мусорами» работают. Они оказываются там, где никого другого просто не может быть.

— Они деньги за это большие платят.

— Да. Когда был обыск, какой-то журналист «лайф-ньюс» приехал вслед за следователем и операми. Знала только судья и те, кто приехал делать обыск. И журналист туда же. А в больнице это было единственное психиатрическое отделение, в которое меня поместили всего на несколько часов.

На отделении люди сразу делятся на две категории — или ты спокойный, или ты буйный. Если не можешь передвигаться, течет слюна, то это признак спокойного человека. А если ты можешь разговаривать, то они это сразу диагностируют буйством. Для персонала ты больной, к которому для его же безопасности должна быть применена вязка. Буйный, потому что представляешь проблему.

Медсестры с санитарами предлагают сделать выбор: «Если ты не хочешь быть привязанным, то ты должен просто лежать и не двигаться. И это очень важный момент — лежать и не двигаться. На самом деле это то же самое, что, например, соблюдение подписки о невыезде. Ты изображаешь свое заточение, делаешь вид, что ты арестован. Одинаково — домашний арест, подписка о невыезде или изображать, что ты привязан к кровати.

Вера в эти психотюрьмы и есть действительное сумасшествие. Когда ты лежишь со свободными ногами и руками и при этом изображаешь, что ты привязан к кровати, или ты сидишь и одном городе и ни куда не ездишь. Разве это не безумие? Хотя в действительности ты совершенно свободен.

И вокруг лежат мужики в подгузниках. Те, кто может разговаривать — привязаны к кроватям. На стене детский «Паровозик Томас» нарисован. Я спрашиваю санитара: «Зачем паровозик?» — «Чтобы все почувствовали себя в счастливом детстве. Чтобы детство вспоминали, ведь в детстве все счастливые». На самом деле это издевательство, потому что это похоже все на какой-то детский сад из «Кошмара на улице Вязов». Только вместо пухлых младенцев разлагающиеся старики,

которых отправили туда умирать.

— Откуда «лайф-ньюс» это взял?

— Как раз из психиатрического отделения.

— Камера у них стояла там?

— Там такая была ситуация. Я сижу на кровати и соображаю, что происходит. В коридоре сестры и санитары. Вижу в окне несколько человек, они мне машут, стучат. Я встал, подошел, что-то сказал им. Я просто увидел людей с камерой. Они прокрались туда как-то.

— Тебя привязали в итоге?

Да. Санитары увидели меня у окна, сказали охраннику, и он побежал за журналистами по территории больницы, а ко мне побежали санитары и медсестра. Все-таки привязали. Все равно я освободил ноги. Освободил ноги, руки не смог освободить. Ноги оставил под одеялом.

Приходит врач, садится на кровать. Скидываю одеяло — у меня ноги свободные. Человек буйный, а он рядом сидит. Его голова совсем рядом с ногами. «Я же ничего не делаю, почему я вообще привязанный?»

Дальше я начал разговаривать с ним так же, как со всеми остальными людьми. Просто стал рассказывать, чем занимаюсь и зачем приехал. Он ушел и принял какое-то решение. Оказалось, что меры безопасности требовали отправить в отделение реанимации человека с небольшим порезом уха. Это уже 21.00. Он написал: «учитывая агрессивное… на интенсивную терапию». Они спрятали меня в отделение реанимации. Я всегда был уверен, что реанимация — это когда человек умирает, но ему это не позволяют сделать.

Ночью надзор, медбрат в палате, в коридоре охранник. И потом, это уже следующий день, утро. Пришла еще одна психиатр. Мы с ней поговорили, и она написала заключение. Она просто посмеялась над Следственным комитетом и их одержимостью. Позиция врача стала диагнозом. А психиатрия продемонстрировала, что все ее основания — это набор субъективных мнений. За сутки три врача и три мнения. Это не наука, просто эффективный инструмент власти.

Почему я говорю — сила искусства? После этого, несмотря на все нарушения этих подписок, Следственный комитет заткнулся на 1,5 месяца. Дело заканчивала группа из 7 следователей. Та следователь пропала. В плане психиатрии они присели, они ничего не сделали. Они показали свою одержимость, свое безумие, а потом оказались беспомощны.

— Что странно. Институт Сербского сотрудничает с силовыми структурами.

— Конечно. Институт Сербского исполняет запрос из органов. Но здесь к ним изначально запрос не поступал, у меня же не в Москве следствие шло, поэтому они просто диагностировали острый психоз и отправили в Боткинскую больницу. Куда меня хотели отправить из Следственного комитета, это в Питере на Грибакина. Новая больничка психиатрическая. Снаружи похожа на тюрьму особого режима. Это специальный филиал 6-й психиатрической больницы.

* * *

— Расскажи про татуировку с Чужим.

— Почему я сделал? Почему чужой?

— Фильм понравился?

— Да, герой, такая мразь, тварь, вцепляется, наверное, из-за этого.

— Была какая-то ассоциация, себя с этим инопланетным существом?

— На тот момент не было, и сейчас, я думаю, нет. Я это оставляю, потому что мне кажется, что каждый человек живет с такой тварью, которая стремится его разрушить. Это про бесконечное столкновение с внешним миром, человек всегда внутри этой бойни.

— Как человек внутри себя.

— Да, как эта тварь, безусловно. Не сам с собой, но каждый человек, как поле битвы, там одни позиции, тут другие.

— Какую бы ты татуировку сделал сейчас?

— Я бы не стал делать татуировку сейчас, потому что мне это кажется бессмысленным. Татуировки — это лишние знаки…

— Надуманные смыслы. Или что?

— Нет. Если делать татуировку, она, как одежда в каком-то смысле, она тебя маркирует, она тебя как-то уже идентифицирует. Ты или причастен к субкультуре, или к какому-то движению, или стилю. А если я отказываюсь от одежды, говорю об оболочке, которая находится под всякой одеждой, то татуировки стали бы какой-то одеждой.

— Странно, почему ты ее не вывел?

— Мне не хочется заморачиваться особенно. Может, лучше и вывести. Но я не настолько одержим идеей чистоты тела, чтобы начать это выводить. Я просто понимаю, что я не стал бы делать новую, потому что мне было бы сложнее с телом работать, если я говорю о социальном.

— Ты в Питере родился?

— Да.

— В центре, на окраине?

— Я родился на ленинградской окраине, это был район юго-запада, Ленинский проспект. Потом родители перевезли меня на другую окраину — метро «Приморская». А когда я стал размышлять о политической ситуации, то делить со мной квартиру для матери стало сложно. Она быстро устала. Моя мать — это человек, который считает, что с милицией надо дружить, а соседей бояться; что если обыск происходит, значит, ты себя как-то неправильно повел. И все, мы разъехались в разные коробки, чтобы больше не сталкиваться.

— Ты не общаешься с мамой сейчас?

— Почему, иногда общаемся. Например, на страницах уголовного дела: «Добрый, ласковый, всегда улыбается» (характеристика, которую дала мать П. Павленскому. — Прим. ред.). Нехилая, конечно, характеристика. Почти диагноз для психиатрических учреждений.

— Не живешь рядом?

— Да, мы не находимся рядом и общаемся мало. Могу иногда пообщаться, чтобы узнать, что может сказать человек, у которого единственный идол — телевизор. Позиция человека, что вес, что ты говоришь, что весь твой порядок мыс лей — это должна быть просто калька с того, что сказал телевизор. Почему? Потому что так безопаснее всего.

— Ты единственный ребенок?

— Да. Это интересно. Очень долго я не мог ее понять. Но когда я оказался в психиатрическом отделении и увидел, как персонал общается с пациентами, для меня все стало гораздо понятнее. В молодости мать работала в психиатрической больнице. У нее там мыслительный порядок сформировался и отношение к людям, к миру, как она общается.

— Когда ты там был, в поведении медсестер ты увидел поведение своей мамы?

— Да, конечно.

— Какое это поведение?

— Очень простое. Человек разговаривает с тобой, но, общаясь, он выполняет задачу, которую ему дало руководство. Что бы ты ни говорил, пока врач не скажет медсестре, что ты не сумасшедший, ты будешь для нее расстройством в форме человека. Они так воспринимают людей. Мне потом об этом санитар сказал: «Ты что, еще не был, что ли? Когда ты сюда попадаешь, ты теряешь человеческий статус». Это максимальная объективация. Ты объект диагностики, как бы ты себя ни вел, любое твое действие или бездействие будет проявлением

патологии. Поэтому ты должен смирно лежать на кровати и выполнять процедуры. И не важно, кем ты был и что делал за пределами больницы. Раз ты здесь, значит, ты болен, все, что ты говоришь — патология.

И у медсестры есть некий регламент действий, каким образом тебя обмануть, принудить. Она говорит: «Да, да, да, вы это можете». Но при этом договаривается с санитарами, чтобы они применили вязку. Я понял, откуда мать все это вынесла.

— Это какой-то обман в детстве постоянный?

— Конечно. Нет, именно отношение, конечно.

— Какое это было отношение?

— Это отношение, какими угодно методами вынудить тебя выполнять какие-то бестолковые действия, гигиенические процедуры, принудить к какому-то регламенту, порядку. Это все было похоже на больничный порядок в каком-то смысле: везде бактерии, везде опасность заражения, все нужно мыть, перемывать, обмазать антибактериальными растворами. Такое ощущение, что вот-вот санэпидемнадзор должен нагрянуть.

Единственный момент, почему она не совсем отсюда, а скорее человек, живущий в другом времени. Это отголоски эпохи сталинизма, которые в ней видны через ее страх перед соседями. Это человек, для которого…

— Сколько ей?

— За 60. Я как-то у нее спрашивал, она, то ли когда родилась, то ли первые годы ее жизни, чуть ли не Сталин, по-моему, он был еще жив. Может, я что путаю. Но она как-то очень близко к этому времени. Я, честно, не помню, когда Сталин умер.

— В 53-м.

— В 53-м. Мне кажется, по-моему, так. Тут надо посчитать. Ей 60 с чем-то… Я могу напутать, Но это в ней очевидно. Мне понятен ее страх перед соседями — что соседи услышат, узнают, и их мнения.

— А что она боялась, что они увидят и услышат?

— Что угодно.

— Она после чего-то говорила: Петя, нас соседи услышат?

— Любой громкий разговор на лестнице о чем-то, при открытой двери — все, что может быть услышано. Это кажется странным и неоправданным — что тут такого? Только в какой-то момент стало очевидно, что это сейчас мы уже этого не понимаем и не воспринимаем. А она это делала несознательно. Вовсе не потому, что сейчас соседи несут опасность. Это связано со временем, когда она росла, это была повседневная ткань ее существования.

— Она хотела, чтобы вы разъехались?

— От меня ей было слишком тревожно. Когда полиция начала приходить часто, а потом еще и обыск, это ее достало, наверное. До этого было по-другому, я хотел уехать, а ей больше хотелось видеть внучек под боком и проявлять свою заботу.

— Я пытаюсь понять, что в ней перебороло — желание видеть рядом своего ребенка и своего внука или обезопаситься — пусть он уедет?

— Желание обезопаситься все-таки перебороло. Правоохранители в форме обходили по дому всех соседей и опрашивали. Страхи сошлись в моей матери, все соседи были в курсе. Среди них оказались и те, кто сам работал в полиции, такие взяли на себя работу активистов-дружинников. После акции «Свобода» стали говорить, что здесь живут фашисты. В этом смысле активность со стороны местных участковых мне только помогла.

Они избавили меня от каких-то уговоров и какому-то разделу имущества.

— Мама вообще в курсе всех акций?

— Конечно. Несчастной маме сильно не везет, она всегда все узнает настолько последней, что даже соседи узнают раньше. Это ее трагедия. Она как человек, находившийся рядом, вроде бы должна была узнавать первой, как-то даже стараться препятствовать, будучи верным подданным государства, прикладывать усилия. Например, про «Фиксацию» она узнала через много недель из какой-то самой последней газеты, случайно оставленной кем-то в метро.

А когда она узнавала об акциях уже от десятого соседа, как это обычно бывало, то считала себя обязанной утверждать, что это все очень плохо, это надо прекратить, как долго так можно продолжать и тому подобное… Она выдает штампы из телевизора, там ей уже сказали, что об этом надо думать.

— Как она отреагировала на акцию «Фиксация»? Мне кажется, для нее это должна быть самая драматичная акция.

— Да нет, так же, как на все остальное. Ей даже неинтересно, что на самой акции происходило. Ее беспокоит только, что может быть нарушен ее покой, покой дома, что соседи…

— А она не воспринимает тебя сумасшедшим?

— Нет. Мне она много чего говорит, но это с такими эмоциями, с нагромождением всех известных ей пугающих слов, поэтому, мне кажется, что нет.

— Как она воспринимает, что сын пошел и часть уха себе отрезал?

— Это загадка, которую у меня был когда-то интерес разрешить. Но потом я это оставил, потому что это для меня

необъяснимо. Думаю, она это себе не объясняет никогда. Она просто воспринимает это как неправильное поведение, вот и все. Она видит, что телевидение говорит, что это плохо, и она делает вывод, что нужно, чтобы этого не было.

— А ты никогда не пытался ее переубедить, объяснить свою позицию?

— В подростковом возрасте старался ее переубедить, объяснить свою позицию. Но это был максимализм юношеский, когда я еще пытался родственникам рассказать про свое мнение. Последние лет 10 я этим не занимаюсь.

— А она никак не рефлексирует по поводу того, что вот, ты — мой единственный ребенок, как же я тебя так воспитала, что так неправильно себя ведешь?

— Я на эту тему… В случае с матерью — человек смыслом своей жизни сделал свое существование как транслятора. Обычно я слышу от нее поток штампов: а вот чем ты будешь кормить, а дети, как они, что скажут, а если ты, а вдруг посадят… Это ее монолог из массива страхов, которым она пытается навязать соответствие.

С другой стороны, такое общение довольно полезно, оно демонстрирует способы управления. Ее постоянное желание — как можно больше все стандартизировать и привести меня к стандарту телевизионной пропаганды. Она так и говорит: «Ты должен это. Дети должны ходить и сад. Они должны болеть. Это поликлиника. Ты должен работать, почему ты не ходишь, не работаешь? Почему денег нет? Почему другого нет? Ты должен это, это, это и зарабатывать…» Апофеоз таких претензий: «Если ты не ходишь на работу, то как ты сможешь накопить на отпуск?» С этой точки зрения она сама является знаком этой жизни, знаком соответствия. И она показывает эту конструкцию — каким образом себя сконструировать, что ты должен сделать. Она метко знает, что ты должен делать: ты должен ходить туда и бояться этого.

— Тебя растил этот человек, ты все время жил с ней. Ты же не мог родиться сразу вне ее сферы влияния. Где тот момент, когда ты вдруг отпочковался, и уже все, она не достигает тебя своими стандартами?

— Если у нас идет разговор о родителях, то на самом деле я воспринимаю их как людей, которые меня смогли многому обучить и показали мне какие-то поведенческие стандарты, модели, на которые я могу опираться.

Для меня очень важна фигура отца. Тут важно об этом рассказать. Отец у меня умер в 49 лет, подавившись куском сырого мяса. Он шел к этому на протяжении всех лет, как я его

помню. Всю жизнь он шел путем соответствия, но не такого соответствия, как мать. Она сверяет себя с ТВ-пропагандой буквально, а он пытался противопоставить этому жизнь ради комфорта и умиротворенного сна.

В советское время он учился, на него давил массив «железного занавеса», и в противовес у него было юношеское желание свободы и путешествия, бродяжничества. Однако порыв выродился в поступление в вуз и получение профессии геолога. Работал из года в год в одном и том же НИИ, жил 5-дневкой, телевизор, какие-то командировки, суточные, командированные женщины. По выходным обязательно пиво, хорошо поесть, почитать детектив и целый день смотреть телевизор. В общем, благонадежный гражданин с идеалом ленивой жизни себе в удовольствие.

— В каком году он умер?

— Мне было 19 или 20, или 21 год. Я не помню.

Я просто вижу последовательность, как он жил, к чему это вело, какие он принимал решения. Это стремление себя обезопасить, оно уничтожило человека, потому что он слушался, может, не всегда, что-то себе позволял, все больше и больше, пива выпить, еще что-то.

Добил его один из последних рывков в сторону комфортной жизни. Он ездил в санатории. Путевка давала возможность погрузить свое тело в изобилие заботы. Ездил, а потом заявил, что уходит жить в квартиру к другой женщине. Я не против. Только вопрос — куда, зачем и откуда? Ушел он из ситуации не очень благополучной, потому что он был человеком достаточно ленивым, ничего особенно не делающим, и ситуация была соответствующая. Я бы очень его зауважал, если бы он нашел себе какую-то девушку, начал землю рыть… Похудел бы, а то он такой растолстевший был. Он ушел к женщине, которая была старше его лет на 15, какая-то директор с пунцовой кожей на лице, почти фиолетовой. Это была женщина, которая нею жизнь работала директорами, это еще более мещанский быт. У него было это стремление, нехватка такого быта. А там все в изобилии. И тут этот человек пошел в этот свой последний путь. Отлично.

Он в этом смысле решил конфликт отца и ребенка, жилплощадь была одна, и интересы пересекались часто. И я стал избавляться от всего лишнего, от хлама, стал все выносить.

Года через полтора он вернулся. К своему возвращению он уже был на финишной прямой Это увлечение просмотром телевизора, пивом и обильной жратвой переросло в вялотекущим алкоголизм. И за несколько лет он буквально деградировал, разучился писать. Под конец он уже начал кидаться. Клиническая

смерть, ничего не помогало, чтобы вернуть его к жизни, врачи ста вили капельницу с водкой.

У него была сформирована ко всему этому такая привычка, что он в принципе умер уже, его капельницей возвращали, даже это не срабатывало. Мы находились в одной квартире около трех месяцев, но он уже настолько далеко ушел в загробный мир, что я перестал воспринимать, что он присутствует. Потом он умер буквально, когда сидел в одиночестве у холодильника и доставал рукой оттуда мясо.

Я размышлял об этой ситуации, понял, что он мне дал очень много. Он мне ценой жизни показал модель того, по пунктам, чего делать не нужно и что к чему ведет. И мне, по большому счету, очень сильно упростил жизнь. Я знаю, как делать не надо, и этого не делаю. И мне живется гораздо легче, чем ему. Поэтому я сейчас очень ему благодарен.

— Я правильно понимаю, что отец и вся его жизнь — то, за счет чего ты не попадаешь под попытку мамы стандартизировать?

— Нет. Я их по-другому воспринимаю. Сначала ребенок просто доверяет. Потом — бац, один раз что-то услышал, понял, что это поток разорванных с реальностью утверждений…

— Ты помнишь что-то конкретное?

— Помню просто, что в какой-то момент уже нет доверия к словам. А дальше начинаешь больше анализировать, слушать. И потом ты перестаешь воспринимать. И все. Потом уже понимаешь, что это поток глупости человеческой, слова благонадежного гражданина, человека, который населяет, конечно…

— Может, ты помнишь какую-то точку невозврата? Ты же не сразу родился другим?

— Конечно, нет.

— Когда родился Петр Павленский, которого большинство знает? Может, тебе кирпич на голову упал? Может, ты увидел, как дети едят мертвую кошку? Что случилось, после чего ты понял, что я другим никогда не буду?

— Акция случилась, что очевидной стала точка невозврата.

— Это другое. Это ты понял после этой акции, что если ты пойдешь на попятную, то ты уничтожишь все, эту свою первую акцию.

— Это оппортунизм будет, сдача позиций. Это было точкой невозврата. До этого…

— Для тебя как для человека. Это как для художника.

— У меня не было таких моментов. Я просто принимал решение. У меня есть разные этапы жизни. У меня не возникало

вопроса, что вот эта точка. Я просто не возвращаюсь назад, потому там мне было бы скучно. Куда возвращаться? Условно у меня есть этапы детства…

— Почему ты так сильно не похож на родителей?

— Просто потому, что они, как родители создали модель, на которую я могу опираться. Можно по-разному использовать информацию. Ты можешь ее принимать и следовать ей, а можешь от нее отталкиваться. Условно — «как не надо», потому что ты видишь, к чему это приводит.

— С какого момента ты стал самостоятельным?

— Я могу что-то путать, потому что, как многие дети, не помню многого, что происходило в детстве. Помню, что когда был совсем маленьким, у меня возникали конфликты с кем-то во дворе, и рядом явно не было никого из родителей.

Там была ситуация, когда мы подожгли парадную, какие-то коробки. Мне было меньше пяти лет. Тогда первый раз пришла милиция, участковый. И я испугался, заплакал. Интересно, откуда маленький ребенок мог узнать, что милицию надо бояться? Этому должен был кто-то научить.

О школе сложно говорить, школу было видно из окна. Наверное, в первый класс отводили. Вряд ли я отличался самостоятельностью. Но никто особенно не опекал. Когда надо было, уходил, уезжал, находил способы обмануть, когда мне надо было где-то остаться, когда старше был. Но не помню, чтобы в 10 лет я самостоятельно отправился в путешествие. Нет таких историй, чтобы я один уехал в другой город или что-то еще.

— Просто я все думаю, что на каком-либо уровне должен существовать момент, где ты просто оторвался от родителей. Я все думаю, что он должен существовать, и ищу его.

— Почему должен оторваться? Я у них учился.

— Когда умирает отец, когда складывается его линия жизни в определенную картину, тебе все-таки 20 лет, ты уже слишком большой, ты уже оторвался к тому моменту. Выбор, мне кажется, человек делает раньше, и подростковом возрасте, что-то такое в нем происходит, что навсегда определяет.

— Я понял. Но с родителями не было такой ситуации. Единственное, с отцом — стремление к комфорту. Нет, это я потом размышлял и смотрел со стороны. Не было там таких точек. Были ситуации, с которыми я сталкивался. Это просто какая-то череда ситуаций. Можно вспомнить про школы… Мне вообще многое дал этот типовой институт дрессировки. В школе все начиналось с букв, которые отражали статус класса «А», «Б», «В», «Г». Буква «Г» объединяла потенциально неблагополучных. Я

не знаю, подразумевала администрация что-то под этой буквой или нет, но я был именно в этом классе. Ты не хочешь носить эти дурацкие тапочки, переодевать сменку, ты хочешь идти в той обуви, в которой ты ходишь по улице, и ты придумываешь, как тебе пройти, залезть, подлезть через какие перила, обойти охрану.

Общее место учебных центров — это учитель, который всегда что-то требует, порядок, который тебе навязывают. У многих детей интерес к такой жизни быстро пропадал, и они уходили в героин, метадон, ПТУ.

Классе в седьмом я рисовал порнографические картинки на одноклассников и впервые столкнулся с силой искусства. Точнее, с тем, как оно способно демонстрировать человеческую природу с неожиданной стороны. Дело не в самих изображениях, а в реакции. Класс разделился на несколько групп, и одна из них стала использовать эти картинки для разоблачения другой. Потом один одноклассник на меня обиделся и отдал изображения учителю. Меня вызывали для разговоров с завучем, директором и психологом. Я не помню, о чем там шла речь. Помню только, что заведующая учебной частью всегда смотрела в живот и никогда в глаза. Потом из этой школы я ушел. Неожиданным оказалось, что весь архив порнографии там хранился до самого ухода. Видимо, они считали важным вместе с документами передать матери доказательства порока. Ей было по фиг, она не отреагировала. Ей это почему-то было не важно. Ей были важны какие-то другие вещи — что нарушит покой соседей.

Я вспоминаю. Есть конкретная ситуация, которую я помню. Почему я говорю, что акцию можно назвать точкой? Когда первая акция осуществилась, это стало очевидной точкой невозврата. Но сделав акцию, я не стал мгновенно другим человеком. Половиной я находился еще в том мире лицемерия. Я еще учился в институте.

Еще за несколько лет до этого я разбирался, как учебные центры подчиняют студентов. Тогда я понял, что оценки — настолько условная система, что они совсем ничего не значат. Их ставят 4—5 человек. Вот мы сейчас договоримся быть условной группой, назовем себя комиссией. И начнем оценивать другую условную группу. Это будет влиять на их отношение к себе, они начнут ссориться, некоторые поведут себя подло, в результате у всех будет меняться отношение друг к другу. Но до того как я сам вышел на улицу, я как-то спокойно относился к этому — да, верят в оценки, их дело.

Я помню, как пришел на следующий год. Пришел и охренел от происходящего. От этого уже просто некуда было деться, я

видел все больше и больше лицемерия: люди что-то говорят, вроде бы они видят и понимают обман. Но все равно соглашаются: «Ладно, давайте оставим это на уровне разговоров. Получим диплом, и будем делать все, что захотим».

Институт уничтожил всех, кто соглашался быть обманутым на протяжении шести лет. Всех, кто согласился получить сертификат соответствия. Я пришел туда и не понял, что я буду здесь делать? Если продолжать туда ходить, это будет самообман, и все.

Люди ходят, улыбаются, и одни понимают, что обманывают других, просто внушают им выгодную для себя систему ценностей. Педагоги сидят, бухают, приходят-уходят, ничего трудного для себя не делают. Создали себе герметично упакованный комфортный мир. И вокруг все крестятся. Там даже завхоз бывший гэбэшник. Просто физически стало невозможно приходить и изображать что-то… В общем, я не захотел, чтобы эта удавка затянулась и на моей шее. Я решил не соглашаться с дипломом и не закончил вуз.

Мне кажется, это важный момент, а так я, конечно, еще подумаю. Если ничего не было, то не буду сочинять.

— Нет, сочинять ничего не надо.

— Я не буду придумывать.

— Просто иногда мы видим что-то, зеленую дверь, например, и вдруг вспоминаем: я же, оказывается, помню, как сидел на крыльце с отцом, шел дождь, и я понял, что это самое яркое воспоминание моего детства. Или самое ранее воспоминание.

— Если вспомню, то да. Честно, я воспринимаю жизнь просто как череду ситуаций, решений. Чтобы такая точка, бамс… Давай акцию все-таки отметим как точку. Это делалось наугад. Не было никакого понимания, что потом последует. Было только ощущение, что нужно это сделать, потому что невозможно ничего с этим не делать.

Сначала я хотел просто выйти с плакатом. Потом думаю: «Хорошо, будут подходить, что-то спрашивать». Потом поговорил с активистами.

«Наверное, в отдел тебя повезут, ты же на территории храма». Наверное, повезут. Я подумал: «“Мусора” будут спрашивать».

Я представил, что мне предстоит череда неприятных разговоров, а у меня же и так все будет написано. Мне пришла такая мысль: как ты о чем-то спросишь человека, как ты его заставишь говорить и отвечать, если у него зашит рот? Я сначала подумал об этом, а только потом о том, что есть этот зашитый рот, что может он даже больше говорит о ситуации.

— Интересно, что это было второй мыслью, а не первой.

— Это было второй мыслью. Я сначала собирался выйти с плакатом. Это было первой мыслью. А потом представил себе ситуацию и понял эту вещь. Как они попросят документы? Наверное, будет глупо, если ты в карман полезешь, когда у тебя рот зашит.

— Правда, глупая ситуация.

— Конечно. Когда все это произошло, я совсем по-другому ощутил и увидел все эти вещи. Я позвал несколько фотографов и какого-то журналиста из газеты «Мой район». Прежде всего, это было необходимо мне, я уже не мог оставаться посторонним наблюдателем. У меня была сложная ситуация, такой конфликтный узел. Я видел, как внедряется идеология, что делают с людьми.

— Ты не мог ничего не сделать.

— Действительно, потом произошел довольно неожиданный поворот. Ты реально вступаешь в диалог именно с этим социальным телом, в диалог с людьми. Для меня не так важно, кому это нравится, кому не нравится. Идет взаимодействие. Не что-то там герметичное. Художников учат сидеть дома или в мастерской и как будто бы что-то делать. Дети в песочнице тоже много интересных вещей придумывают. А тут по-другому: один обратился к множеству, и если для множества это имеет хоть какое-то значение, то оно отвечает.

А какие-то воспоминания, из какого-то детства, это сложно сказать.

— Я задам вопрос про твой день. Чем ты сегодня завтракал?

— Ну, вообще с утра и днем я обычно не ем. В каких-то ситуациях, когда я просто чувствую усталость, можно и днем поесть. С утра пью чай, потом могу выпить кофе, потом еще чай, и так до вечера. Когда пью чай, смотрю, что надо сделать в этот день, записываю и начинаю делать. Работаю в течение дня, а вечером…

— Прорабатываешь будущие акции?

— Нет. Процесс политического искусства это не только акции. Значительная часть это Издательский дом «Политическая Пропаганда». Там работа и с людьми, и с материалами. Другая важная часть — это процесс утверждения границ и форм политического искусства. Это то, чем меня бюрократический аппарат снабжает. Акции — это один из фрагментов всего процесса.

— Сегодня, например, ты над чем работал?

— Сегодня работал над материалом для 4-го выпуска

журнала. Сделали один из материалов для выпуска. Я работал над этим.

— А вы с 12-го года выпускаете этот журнал?

— Да.

— С какой периодичностью выходит? Сейчас 4-й выпуск.

— Раз в год примерно, иногда немного чаще выходит.

Это книга, там около 200 страниц. Надо посмотреть. Толстый журнал. Там экономика дара важна. Мы не продаем журнал. Очень важно, что журналы и книги только дарятся.

— Даже не за какую-то сумму?

— Нет. Вообще дарится, экономика дара, потому что это все часть процесса. Потому что в этом случае ты вынужден найти деньги, чтобы напечатать выпуск. И делаешь это только для того, чтобы потом это дарить и как бы уже этим подрываешь систему товарно-денежных отношений. Ты просто даришь.

— А как — печать, плата сотрудникам…

— Сотрудники — это люди, которые сами заинтересованы участием в таком процессе.

— Какой тираж?

— 700 экземпляров. Деньги мы разыскиваем по-разному, в зависимости от ситуации. На «Бомбастику» мы просто через Facebook собрали, одну часть, вторую дала наша подруга, которая поддерживает идеи проекта, еще часть сами добавили. Потом книгу напечатали. На 4-й выпуск гораздо больше людей помогло. При этом те, кто помогают деньгами на печать, совсем не обязательно получают свой экземпляр. Кто-то помогает, а потом даже не читает книгу, говорят, что неинтересно.

Мы так прорабатываем идею товара, его стоимости и денег. С акциями все просто, если там присутствуют деньги, то высказывание будет купироваться. Это не так, только если деньги несут в себе смысловую часть события. Понятно, что если там будут деньги, то можно говорить, что это делалось для какого-то заработка.

С пропагандой другая ситуация. Здесь мы говорим о разном политическом искусстве, о его прецедентах. И в этом случае создается печатным продукт, потому что книга, в отличие от какой то акции, это все-таки вещь. И когда у тебя на руках появляется 700 экземпляров одной и той же вещи, то может появиться соблазн начать это все продавать. А если ты как мелкий лавочник торгуешь журналом, то добро пожаловать в хипстерский неолиберальный мир.

Когда у тебя требуют сообщить установочные данные, то основной пункт — это место работы. Там предполагается отвечать или «безработный», или «официально не трудоустроен», или

«студент», или ты просто называешь место своей работы. Я говорю, что занимаюсь политической пропагандой. И в этом случае это правда.

Разговор третий

— Есть круг людей, которых ты считаешь своей семьей?

— Опять же близкий круг это называется, а ж семья.

— В твоем сознании нет понятия «семья», только близкий круг?

— Конечно. Близкий круг. Конечно, да. Интенсивность внутри отличает его от кругов, которые дальше и дальше. С соответствующей долей доверия.

— Это понятно. А это идет от неприятия самих понятий семья и брак?

— Брак — это уничижение другого человека до уровня собственности. Институт брака, семьи и супружеской верности. Это предательство страсти и возведение банальной капиталистической модели на пьедестал закона. Рыночная экономика переводится в сферу отношений между людьми. Мы с тобой заключаем договор, и теперь ты моя собственная вещь. Надо быть бдительным сторожем, чтобы твою вещь никто не украл. Если говорить про нас, то у нас близкий круг, но нет такого, что мы обязаны совокупляться только друг с другом. При этом устанавливать табу на других людей и секс. В этом отношении все свободны.

— Ты говоришь про свободные отношения.

— Да. Это свободные отношения, безусловно.

— А какие есть отличия для тебя в существовании близкого круга и в семье? Чего бы \ вас еще не было, помимо свободных отношений, если бы вы существовали в консервативной ячейке?

— Не знаю, какие отличия. Это просто ответ на политические вызовы режима.

— Если бы ты хотел провести акцию, чтобы показать, как бы вы взаимодействовали, будь вы семьей — как бы это выглядело? Вы бы жили только с Оксаной; вы бы каждое утро вставали, отводили детей в детский сад, потом варили обед им, ходили бы с утра до вечера на работу? Понимаешь?

— Это хороший вопрос. Как бы мы жили?

— Я просто хочу понять эту разницу.

— Все очень просто. Мы бы жили, так же как и живем. Где-то добывали бы еду, еще что-то, готовили какие-то события, занимались бы политической пропагандой, издательским домом и вступали бы в отношения с людьми. Мы бы жили, как живем. Мы бы не закрывались друг на друге.

— Я пытаюсь понять, что, помимо свободных отношений,

отличает вас?

— Что вообще является этим жизненным проектом, что вообще объединяет людей?

— Ты называешь это «жизненный проект»

— Это проект, безусловно.

— Чем жизненный проект отличается от типичного представления о семье, кроме свободных отношений?

— Безусловно, то, как ты живешь, то, чем ты живешь — это несет определенные смыслы. Утверждение своих условий существования дает возможность опровергнуть другие смыслы и понятия, которые навязываются образовательными институтами.

— Ты их утверждаешь через что, помимо свободных отношений? Через какие смыслы?

— Смыслы твоей жизни и ее форма. Государство говорит: ты должен жить так, так, и так. Но никто так жить не должен. Необходимо опровергать, но чем? Человек живет и показывает, что то, что говорят… Те схемы отношений, которые преподносятся как обязательные, в них изначально заложены такие вещи, как ревность, — населению объяснили, что оно должно чувствовать. На ревности и измене держится сакральность брачных уз. Ты должен ревновать, это унижение — делить кого-то с кем-то и т. д.

С одной стороны, пресловутый патриархальный порядок. А с другой стороны, есть определенные группы фашизоидных феминисток, которые говорят, что мужчинам и женщинам надо держаться друг от друга как можно дальше. И вообще мужчина — это биологический вид, который надо уничтожить. Но пока нельзя уничтожить, тогда надо представить, что такого вида просто нет. Сцилла и Харибда. С одной стороны видовой фашизм, а с другой — тотальная моногамия, основанная на понятии измены, лжи и предательства.

Почему предательства? Потому что если есть этот договор о собственности, то в любом случае жизнь с этим соглашаться не собирается.

Живое не хочет быть вещью. От этого не уйти даже в результате самого рационального договора. В один из дней жертвам моногамии становится уже совсем невыносимо. Но слишком много материальных ценностей связывает, чтобы безболезненно все порвать. Тогда начинается обман себя и другого. Один человек начинает за спиной жить против другого человека, и его уже не назвать близким. Другой для него превращается или в шпиона, или в следователя. Все с нетерпением ждут разоблачения. И это заключено в таких отношениях изначально.

Или совсем такой утопический патриархальный институт, где и жизнь невыносима, и измены нет, но так прописаны роли, что женщина буквально превращается в домашнюю скотину.

— Или мужчина.

— Если мужчина, то это уже в другой крайности работает. Если есть дети, то там фигура мужчины превращается в Бога-Отца со всеми вытекающими последствиями в виде регулярной инквизиции в преддверии обязательного Страшного суда.

— Твой «жизненный проект», это такая демонстрация, тоже своего рода акция?

— Акция? Как это назвать акцией? Акция это другое, там идет работа с инструментами власти. Акцией я бы назвал именно определенное действие. Там придумывается название, есть определенная методология того, что делается там определенная ситуация конструируется.

— А это скорее идеология?

— Это вопрос скорее о том, чтобы не происходило расщепления. День за днем государства разжигают ненависть между целыми народами. Телепропаганда говорит: «Убивать, убивать, убивать». Российское население натравливают на украинское общество. Стравливают людей, как цепных собак. Что ответить на это? Мы с Оксаной и нашей подругой по Политической Пропаганде решили, что лучшим ответом станет объединение. Вика была из Украины, а мы из России, наши отношения стали личным ответом на разжигаемую вражду. Мы даже лекции на эту тему давали. В общем, я хочу сказать, что ты не можешь говорить о каких-то вещах, и писать какие-то вещи, и опровергать какие-то вещи, при этом…

— Те идеи, которые ты транслируешь в своих акциях…

— Они должны…

— Они просто не вяжутся с такой обычной семейной ячейкой?

— Естественно. С патриархальной семейной ячейкой они точно не вяжутся.

— До того, как ты начал этим всем активно заниматься, я имею в виду акции, ты жил точно так же в плане отношений?

— Было бы странно, если бы я не менялся.

— Когда ты жил с мамой и папой, ты был в семье, они были семьей. Так?

— Безусловно. Стандарт семьи сохранялся.

— Сейчас у тебя жизненный проект, близкий круг. Как ты оттуда пришел сюда: может, ты в 17 лет жил с девушкой, моногамно, в 25 жил с молодым человеком и ощущал себя полигамным…

— Это довольно обычная история. Мне было около 6 лет, когда дедушка в пьяном угаре продал свой дом цыганам и переехал к нам жить. Он был уже очень старым и ходил с катетером. Дед привез с собой кучу хлама и свалил его в коридоре. Почти на самом верху этой груды я обнаружил порнографические карты. Эту колоду я потом очень долго изучал. И тогда меня заинтересовал противоположный пол. Я смотрел и не врубался — почему женщина банан ест, потом врубился. По этим картам я и строил постепенно интерес к женщинам. Исходя из того, кто из них подходил к воплощению увиденного.

— Исходя из того, насколько они могли делать то, что было на картах?

— Конечно. Сначала это было вообще непонятно, на что похоже. Только потом приблизилось к чему-то человеческому.

— Это были девушки на порнографических картах. А чувство, стремление к человеку противоположного пола?

— У меня, с одной стороны, это порнографические карты, а с другой — я понимал роль женщины в моей жизни. Я искал женщину, которая может быть другом и соратником. Через много лет поиска мы начали жить с Оксаной, и тогда мы жили по принципу доверия нуклеарной семьи. Мы были только вдвоем.

— Почему потом вы решили новый договор создать?

— Потому что мы стали размышлять, сопоставлять, думать, что мы транслируем тем, как мы живем. Это в сильной степени повлияло. Какой бы мог быть смысл в искусстве, которое ничего не меняет? Ты либо опровергаешь, либо что-то утверждаешь.

— Вы в некотором смысле тождественны своим акциям?

— Нет, не акциям. Тождественность между принципами и жизнью имеет определенный смысл. Иначе это разрыв и расщепление, либо просто лицемерие и ложь.

— Сколько лет вы прожили?

— Порядка 8 лет.

— Восемь лет вы жили друг с другом в обычной такой системе. И потом ты так легко смог принять другую?

— Где-то на протяжении года. Обычно мы разговариваем и формулируем идею. Потом становится очевидным, что это нужно начинать воплощать.

— Ты испытывал чувство ревности?

— Я бы не назвал это ревностью.

— Неужели ты не боялся потерять?

— Нет.

Я тогда думал, отношусь ли я к ней как к собственности?

— Тебе не кажется, что в тебе боролось вот это мужское начало, которое отвечает за ревность, и рассудок, который

генерирует идеи? Была эта борьба?

— Немного. Это скорее не ревность. Я бы это назвал жадностью. Например, на столе лежит еда. Конечно, живот диктует свое отношение. Но в итоге можно и пожалеть, если самому все сожрать. Это примерно, как человека уже давно тошнит, а он все равно все обратно заталкивает.

— Честность боролась с эгоизмом?

— Да, вот так можно сказать. Давай назовем это словом «жадность». Это похоже. Жадность — это и есть собственничество, когда ты хочешь все в себе удержать. Даже тогда, когда тебе это не нужно.

— А почему ты не боялся, что можешь потерять Оксану?

— Потому что это ставит перед нами вопрос. А что вас держит вместе?

— Я про это и спрашиваю.

— Через это можно понять, а держит ли вас что-то большее, чем привычка или страх нарушить право собственности? А держит ли вас какая-то жизненная идея? Есть ли интерес по отношению друг к другу, который находится за этими границами? И если он есть…

— Это сильная духовная связь?

— Не духовная.

— Идейная?

— Идейная.

— Вы привязаны больше друг к другу, как человек к человеку, чем как мужчина с женщиной?

— Я думаю, что если свобода не разрушает наши отношения, значит, мы все-таки остаемся друзьями. Поэтому мы и опровергаем ментовский язык, который предписывает называть близкого человека женой, сожительницей или говорить — холост. Когда судьи, следователи изъясняются, у них есть категории. Если мыслить себя этими категориями, то этого уже достаточно, чтобы стать транслятором. Мне кажется, что даже в таких вещах надо искать другие слова. Мы сейчас используем слово «друг» или «подруга». Ницше писал, что друг — это вопрос перспективы.

— Оксана — настоящий друг?

— Да. Но для того, чтобы это понять, нужны ситуации. Встречаешься с человеком, и с вами происходит череда ситуаций. Не искусственных проверок, это создает сама жизнь. И таких ситуаций была не одна.

— Какая? Например?

— Одна из ситуаций. Слово.

— Можешь рассказать?

— Это не тайна. Это вопрос слова. Когда ты живешь по

принципу свободных отношений, го они как всякая свобода налагают на тебя значительную ответственность. Точнее, на слова. Однажды Оксана нарушила принцип слова, на котором держались наши отношения. Долгое время она пыталась покрыть нарушенное слово просто еще большим количеством новых слов. Но ее слова утратили связь с реальностью. И через это она сама стала терять эту связь. Видимо, Оксана очень сильно это почувствовала. В какой-то момент она пришла ко мне в гости и показала руку. Одного пальца на руке уже не было. Она сказала, что, на ее взгляд, это достаточно для того, чтобы ее слово обрело значение. Я с ней согласился.

Она смогла найти свой способ восстановить связи.

— Она отрезала себе палец?

— Да, отрубила топором.

— Вы никогда не состояли в официальных отношениях?

— Никогда не состояли.

— А в свидетельстве о рождении ты написан в графе «отец»?

— Да, тот, кто взял на себя отцовство, согласился кто-то с этим или не согласился.

— В случае чего тебе твоих детей отдадут, ты можешь их представлять полноценно, как их отец?

— Я не узнавал этот вопрос. Скорее всего, да.

— Мне было просто интересно, пошли ли вы на компромиссы со всей этой юридической бюрократией в связи с детьми.

— В чем?

— Оформить отцовство. А как Оксана от реагировала на эти изменения в ваших договоренностях?

— Я думаю, что она, безусловно, перебарывала тоже. В любом случае за послушное поведение аппарат платит покоем. Все заботливо размечено и обозначено, как на кладбище. Это и наделяет смыслом отношения с человеком, потому что ты начинаешь работать с какими-то темами, ты начинаешь их поднимать, и тогда даже обычный день жизни с человеком, даже обычный разговор, он тоже начинает наделяться смыслами, потому что…

— В таком положении отношения становятся настоящими?

— Да. Пока тело еще хранит признаки жизни, лучше успеть поставить перед собой вопрос о том, что продуцирует ревность. На уровне государства все зависит от того, насколько быстро будет съеден труп традиционных ценностей. Пока от него остаются какие-то объедки — назойливое жужжание

прожорливых бюрократов не прекратится.

— Я правильно понимаю, что и в условиях этой новой договоренности вы большую часть времени отдавали друг другу? Не появилось вдруг девушки, которой бы ты отдавал внимания и времени больше?

— Время не тратится на кого-то, если это общее дело. Такое понимание — это вопрос человека, потому что, если ты придерживаешься идеи свободных отношений, не просто шпилить кого-то, а отношений, когда близкий круг еще есть…

— Именно не переспать, а отношения?

— Да. Тут человек не появляется сразу. Идея вашей жизни втроем — это буквализация лозунга «Личное — это политическое». И если смотреть на отношения политически, то полиамористы недалеко ушли от свингеров, только первые рассуждают о буржуазном Эдеме, скрываемом в тонких материях открытой любви, а вторые просто ищут для себя разрядки в групповухе по выходным. И то и другое — это как спастись от пожирающего уныния. Нам это все показалось неинтересным, и мы решили заняться пропагандой новой модели геополитических отношений. Конечно, такая новизна вызывает сомнение. Но, по крайней мере, наша пропаганда адекватна по отношению к нарастающей мобилизации и патриотической истерии.

Церковь и другие идеологические аппараты власти предлагают людям держаться за форму отношений, наиболее выгодную для быстрого восстановления популяции в условиях опустошительной войны. Все эти вопросы поднимались еще сотни лет назад. На поиск ответов у людей уходили целые жизни. И эти ответы уже давно были найдены. Однако время идет, но все остается так же. Как будто бы человеческий массив искусственно удерживает себя в прошлом. Каждую сотню лет все поворачивается так, как будто бы ничего не было решено, и люди только-только выбираются из Викторианской эпохи.

— Ты когда любишь конкретную женщину, с которой могут быть отношения, ты ее любишь в первую очередь как женщину или как человека?

— Как человека, я думаю. В твоем вопросе самое сложное понятие «любишь». Потому что совершенно неизвестно, что каждый имеет под этим в виду. Как правило, это понятие конструируется через киноиндустрию, от сериалов до всего остального. Значение слова «любовь» контролирует рынок киноиндустрии. Я думаю, что уровень доверия к этому слову каждый должен соотнести с уровнем доверия к Голливуду.

— Ты никогда не говорил: «Я тебя люблю»?

— Старался не говорить.

— Но говорил?

— Если говорил, то понимал, что в этот момент я вру. Это референция к традиции признания, которая начинает это все связывать с конструктами отношений из кинематографа или телесериалов.

— А у тебя есть какое-то слово, которым ты можешь заменить это чувство по названию?

— Одним словом нет.

— Можешь ли ты заниматься сексом с человеком, если ты не чувствуешь этого сильного чувства?

— Думаю, что могу.

— Тогда что это вообще будет значить? Это никак не нарушает твою идейную картину?

— Я говорю о другом. Я думаю, что близость определяется тождественностью устремлений. Секс — одно из проявлений близости, но не самое значительное. Секс может демонстрировать страсть. А может оказаться просто способом развлечься среди унылого однообразия. Если секс будет, но не будет стремления к общности, то это ничего не значит, эпизод без продолжения. Если появляется идея отказа от собственности тел, то тогда секс становится подтверждением, что ты в этом отношении уже не держишься за идею моногамии, собственности. Я бы никогда не поддержал идею отказа от секса, потому что такие отношения можно назвать товарищескими, или просто коллеги по работе, это не будет близким кругом, который строится на степени дистанции.

— Мне казалось, что ты отказываешь себе в таких общечеловеческих физических потребностях, удовольствиях. Зачем мне большая кровать, я могу спать на матрасе, потому что так честно. Это излишество. Мне в этом плане кажется таким аномальным, что ты можешь спать с человеком, понимая, что у вас дальше ничего не будет. По сути, удовлетворить физическую потребность.

— А откуда я знаю, что дальше ничего не будет?

— Ты можешь спать, только думая, что будет?

— Я же человека не знаю. Откуда я могу знать? Если тебе интересно, то я могу сказать, что я не пользовался услугами проститутки, я никогда бы не пошел и не стал участвовать ни в каком мероприятии типа клуба свингером. Меня пугает уныние, которое окружает сферу договорного удовольствия. Там все настолько предопределено, что становиться непонятно, зачем вообще этим заниматься. Там нет ни одного неизвестного. Без договора отношении непредсказуемы, в один момент все прекрасно, но через полчаса, 15 минут все может измениться. Три

неверных слова могут так изменить ситуацию, что ты с этим человеком просто разойдешься и больше не увидишься. Когда все улыбаются, это похоже на магазин: «Мы тут договорились, я тут заплатил». Когда нет рынка, важно только то, кем ты являешься и кем человек.

И я не очень помню насчет отказа. Если мы говорим об отказе от какого-то излишества, то это просто какая-то прагматика жизненная. Я не понимаю, зачем брать и таскать кровать, если ее трудно перетащить, удобнее пользоваться матрасом.

— Это не выражение идеи, просто тебе так удобно?

— Естественно. Зачем грузить себя переизбытком? Этот хлам, который не так-то легко перетащить с места на место, он быстро становится помехой. В нем нет ни пользы, ни смысла. Просто о тяжело таскать эту вещь. Меньше всего хочется скорчить из себя образец морали и христианской скромности. Это больше к лицу людоедам, построившим карьеру на сотнях трупов, например Матери Терезе. Торговля смертью и не очень убедительная игра в аскезу вознесли ее на престол святости. Я не объедаюсь с утра вовсе не потому, что мучаю себя мнимым аскетизмом. Какое ужасающее страдание: «Я так голодаю, я измучен и хочу есть». Проще один раз поесть вечером, чем целый день гоняться за едой — что сейчас съесть, а что потом.

Ты сказала про кровати. Тут основной вопрос, что ты поддерживаешь этим? Понятно, что если изо дня в день перегружать свой быт, то жизнь становится манифестом консюмеризма. Нет смысла это поддерживать, чтобы иметь все, что необходимо.

— Все упирается в хочу и нужно, необходимо и хочется.

— Было бы нелепо, работая с информационным полем, изображать из себя ортодоксального миссионера или старообрядца-затворника. Если отказаться от техники и телефона, тогда мне будет очень тяжело заниматься делом. Но когда вязнешь в лишнем, ты начинаешь…

— Надо понять, когда начинается.

— У каждого свой критерий.

— Ты понимаешь: ой, что-то я за излишествами погнался?

— Думаю, я почувствую, что как-то вязко стало.

— А если тебе что-то дарят, ты воспринимаешь это уже как излишество? Дарят тебе iPhone. Он тебе, в принципе, не нужен.

— Могу подарить кому-то.

— А можешь себе оставить?

— Подарить как-то красивее.

— Как, это подарок, человек обидится.

— Это ситуация сконструированная.

— Потому что человек, который может тебе подарить iPhone, никогда не подарит, зная твои идейные…

— Такого не происходит. Что с техникой вообще происходило? Например, обыск, следователи вынесли все. Вынесли технику. А потом адвокат дарит смартфон. Он мне очень помог. Камера, телефон, выход в Интернет. Одна часть правоохранительной системы выносит, другая заносит. Все равно в результате необходимые вещи у меня есть.

— А если тебе подарят большой двустворчатый холодильник? Ты его выкинешь? Перепродашь? Что ты будешь делать?

— Я даже не знаю, буду ли я его брать. Я подумаю. Мне будет проще всего в этой ситуации сказать, что он мне не нужен. Но, с другой стороны, кому он нужен?

— Ты носишь одежду, чтобы не быть голым. Так же? Это ко всем вещам такое отношение?

— Не совсем. Я же не иду на рынок за трениками. Это была бы неправда. У меня есть вещи, которые я себе выбираю.

— У тебя много вещей?

— Куртка, джинсы. Не так много.

— Сколько раз я тебя вижу, ты все время и этих штанах.

— Почему? У меня несколько штанов, просто они одинакового цвета.

— А тебе что-нибудь нужно? Может быть… Я не знаю, бытовая потребность в чем-то: тапочки, чайник?

— Кеды. Кеды у меня рвутся. Понятно, рвутся кеды, ноги становятся мокрыми.

— Я просто спрашиваю, есть ли у тебя бытовые желания?

— Да, конечно. Без ножа хлеб не порезать.

— Это про необходимость. Давай лучше про стиральную машину поговорим.

— Да, если не будет стиральной машины, значит, все тряпки придется в тазу стирать, и вся жизнь превратится в прачечный процесс.

* * *

— Какого человека ты можешь назвать взрослым? Существует ли вообще взрослый человек, или растешь-растешь и вдруг понимаешь, что тебя называют дядя, по имени-отчеству, но тебе все те же 15?

— Взрослый человек — это сложно. Надо по думать. Я не

знаю, мне кажется, что взрослый человек…

— Может, мы начнем с того, как ты вообще понимаешь это слово?

— Я подумаю.

— Ты когда делаешь акцию, представляешь, что ее видят дети? Есть разница в ребенке, который ее будет воспринимать, и во взрослом?

— Я думаю, что она есть. Взрослый все-таки в силу количества прожитых лет уже знает гораздо большее количество ситуаций, с которыми ребенок…

— Культурный бэк-граунд?

— Да. Ребенок меньше успел узнать, и он меньше знает каких-то правил.

— Меньше зашорен?

— Да. Разница безусловная. Взрослый человек выполняет обязательные ежедневные процедуры. Он делает это с пониманием, что это выражает позицию. Он или утверждает, или опровергает. Можно сказать, что взрослый понимает, что он поддерживает, даже когда идет в туалет поссать. Если взрослый встанет где-то посреди улицы или на площади, где угодно, встанет и просто поссыт… Или ребенок поссыт, то это будут две разные вещи. Если ребенку просто захотелось опорожнить пузырь, то несчастный взрослый будет понимать, что он не просто поссал, а он вступил в спор с общественным договором ссать в строго отведенных для этого местах. Он явно чего-то хочет этим сказать. И рано или поздно последует развязка. Ребенок по-другому свободен. Это вопрос знания. Его действие — это то, что он в этот момент знает. Если никто не останавливает, то он это просто делает. Я вообще думаю, что взрослый не может действовать, как ребенок, потому что он уже знает.

— А есть то, что ты не готов сделать ради какой-то цели. Ради акции нужно будет человека убить?

— Нет, я об этом подумал. Я бы убивать не стал. Это первое. Второе.

— Дети?

— Это вопрос другой. Я бы не стал использовать другого. Мне однажды написал человек со странной просьбой. У него была какая-то театральная постановка. И он меня попросил прибить его руку к сцене гвоздем. Почему-то просил меня. Чтобы я не показал, а помог, взял и прибил его руку. Это совсем меняет дело.

— Если человек смог мошонку прибить, то с рукой, наверное, справится, логика была такой, видимо.

— Я ему что-то по поводу этики ответил, но в целом я, конечно, не очень обрадовался перспективе вбивать на сцене

гвозди.

— В акциях только ты, правильно?

— Почему? Акция «Свобода».

— Но это тебя поддерживают и согласны.

— Да, одно дело, когда человек поддерживает. Ты наверняка знаешь про закон об ограничении свободы информации. Он предписывает, что можно и нельзя демонстрировать. Так государство заботится о детях. Я об этом законе знаю. Поэтому то, что я делаю, — это открытая демонстрация сцен жестокости и насилия. Я говорю о том, что скрывается за декорацией «заботы о безопасности». Аппараты власти — это аппараты насилия. Ленин так об этом писал: «Особый аппарат для систематического применения насилия и подчинения людей насилию». Я делаю это по отношению себе. А если я кому-то что-то отрежу или прибью, это будет совсем другое. Просто другие смыслы. Мало интересного в том, чтобы результатом всего дела стала роль палача в чьем-то спектакле.

— Сцена из «Преступления и наказания». Там мать выводит детей, они нищие, им нечего есть, и она выводит их на улицу, чтобы они пели, играли. Они плачут. Они идут по улице. И огромная толпа людей собирается и смотрит на это все. Можно ли это назвать акцией? Дети являются жертвой и являются сами собой, ничего не нарушая, но мать сама их вывела на улицу, потому что они — маленькие дети 4—7 лет. Это акция?

— С какой целью она их вывела?

— Показать, что она нищенствует, негде жить, что у нас такая жизнь, что богатые богатеют, нищие нищают. И я, нищая, болею туберкулезом, я болею, я умираю, а дети в детдом пойдут, а старшую дочь на панель отправят. Это акция или нет?

— Я думаю, что в каком-то смысле — да, безусловно. Но только в том смысле, что она что-то демонстрирует…

— Ты хочешь сказать, что акция — это отражение жизни, но не сама жизнь? Нельзя просто взять и показать, что я так живу, и это будет акция.

— Акция создает смысловой прецедент.

И в этом смысле она всегда добавляет новую ситуацию, которая по всем установленным правилам этого места просто не должна была возникнуть ни при каких обстоятельствах.

— Ты часто думаешь, что было бы, если бы…

— Нет.

— Когда мы говорили про твои первые акции, то ты сказал, что потом в акциях не отступался от своей идеи,

потому что понимал, если сейчас сломаешься, все то будет аннулировано.

— Да.

— И в контексте этого я хочу спросить. Не кажется ли тебе, что ты оказался неким заложником собственных акций? Что ты говоришь о свободе, а тут ты не свободен в этой своей свободе?

— Безусловно, каждый человек — заложник своей идеи. Если есть какой-то принцип, сразу появляется его заложник.

— Я могу сейчас пойти в горы, поставить там палатку и жить всю жизнь, а могу выйти замуж за миллионера и жить во дворце. Но ты не можешь зажить супербуржуазной жизнью, даже если однажды проснешься и поймешь, что всего этого я больше не хочу, а хочу, чтобы у меня был бархатный диван. Но как только ты купишь себе его, все твои акции будут аннулированы.

— Скорее всего, если ты решишь съездить куда-то на год, тебе придется много подумать, сколько всего ты потеряешь, пока тебя не будет целый год Это фантастическая такая ситуация, что каждый свободен, и думать, что человек, предприниматель, бизнесмен или какой-нибудь человек жива лучше, чем обычный работник. Не факт.

— Я не говорю о том, что все свободны, а ты тут один несвободный оказался в своих акциях. Я про то, что у тебя больше рисков. Как только ты вдруг просыпаешься и понимаешь, что ты хочешь жить совершенно другой жизнью, полностью другой, то ты перечеркиваешь.

— Если это об аскезе, то я вообще думаю, что здесь нет аскетов. Здесь ни у кого нет идеи, умертвить плоть, чтобы привести себя к прозрению и покою. Я вообще ничего не теряю. Скорее наоборот, я не живу пустыми надеждами. Я ни на кого не работаю и занимаюсь тем делом, которое выбрал сам. И я занимаюсь им потому, что мне это интересно. Если ты про то, что я не могу поменяться, то я меняюсь. Только если это преобразование, а не оппортунизм и движение в унылое прошлое.

— Вопрос по поводу самовыражения и детей. Есть ли какая-то грань в потенциальном

самовыражении твоих детей, которую ты бы и не хотел, чтобы они переходили? Если дети захотят самовыражаться, начиная от каких-то и субкультур и заканчивая полным уходом в лес, и монахи…

— О том, чего бы я не хотел для детей?

— Чего бы ты не хотел точно?

— Я бы не хотел… Террористками, трансвеститками,

фашистками, шлюхами, кем угодно. Я бы не хотел бы, чтобы они подчинились каким-то догмам, которые сделают их жизнь невыносимой.

— А если они будут употреблять тяжелые наркотики?

— Значит, они будут наркоманками. Но это было бы очень плохо. Потому что наркотики…

Они очень быстро превращают человека в тотально чужеродный по отношению к собственной жизни продукт. Непрерывный круговорот денег, барыг и препаратов создают иллюзорную систему внутри режима. Человек ничего не меняет вокруг, он постоянно меняет свое восприятие. Но реальность возвращается и вцепляется все крепче и крепче. В конечном итоге наркоман уже не расстается с тем, от чего он так хотел убежать. Теперь он как последний дурак платит за то, чтобы не испытывать физической боли. Этот человек вообще нигде, он старается затеряться, потому что у него слишком много опасностей, в жизни много проблем, которые надо решить.

— Ты был бы против, потому что это входит в систему подчинения?

— Да. Бессмысленная самоликвидация. Многие сомневаются в психическом здоровье террориста смертника, и при этом миллионы людей заняты ежедневным химическим суицидом.

— Дети — продолжение тебя, твоих акций?

— Нет. Они живут своей жизнью. Я то, что могу, им рассказываю. Потому что просто моя жизнь — это моя жизнь, их жизнь — это их жизнь.

— А если они вырастут и скажут: «Папа, мы хотим жить, как все».

— И пожалуйста.

— У тебя к ним не родится такого идейного презрения, что я вас выращивал свободными людьми, а вы хотите с утра до вечера жить пустую жизнь?

— У меня только к себе тогда будет презрение.

— Ты — взрослый человек рядом, ты им что-то транслируешь.

— Нет. Это люди. Тогда я бы им установил какой-то диктат. Это как с атеизмом, когда атеизм становится обязательным для всех, он сам превращается в религию. Это то же самое. Учась на монументальной живописи, я узнал, как режим внушает свою власть через искусство. Оно воздействует на когнитивные процессы и транслирует идеологию — свет витражей, мерцание свечей, ладан, таинственный полумрак. Изощренная машина пропаганды. Всему этому долго учатся. Каждый голос в хоре очень много лет тратит на то, чтобы стать именно этим голосом.

Поэтому это все работает. Технологии сакрального. Этим знанием надо делиться, и, конечно, об этом надо рассказывать детям. Мы идем по улице, заходим в какое-нибудь клерикальное учреждение. Чем массивнее декор, тем лучше.

И начинаю объяснять: «Это работает так, воздействует так, цель внушения такая-то». А будет ли это в последующем иметь какое-то действие или не будет, я не знаю.

В любом случае, если они захотят так жить — пожалуйста. Я согласен. Это просто другие люди.

— На твоих с ними отношениях это никак не скажется?

— Думаю, что нет.

— Мы говорили про прошлое, про дела, и мы не говорили про смерть. И мне кажется, что смерть — это огромное событие в жизни.

— Да.

— Что есть смерть в связи со всеми твоими взглядами на жизнь? Что есть за ней?

— Мне кажется, что смерть — это и есть смерть. Это конец этому человеку. После этого начинается процесс разложения. Человек остается, он может оставаться, может существовать только внутри коллективной памяти. Он продолжает существовать именно в этом информационном поле. И все. То, чьими знаниями мы оперируем, эти люди и существуют. Те, чьими словами мы говорим, в этих словах,

в этих знаниях существуют не как тела, а как части нашей памяти.

— А ты вообще боишься смерти?

— Да просто такой сложный вопрос. Я не думаю. Это может показаться…

— Ты не думаешь о смерти?

— Молодой еще, наверное. Нет.

— О том, что можно сделать до смерти?

— Я живу довольно короткими промежутками времени. Я не думаю о том, что будет через 10 лет, даже через год, через два. Скорее это периоды в один-два месяца. Не больше.

— То есть в твоей жизни не существует какого-то размышления о смерти?

— Нет. Я стараюсь не строить иллюзий по поводу существования последующего, загробного, какого-то еще. У меня есть размышления, о которых я уже сказал.

— Чтобы остаться после смерти?

— Единственное, что можно добавить про коллективную память — она жестока и бескомпромиссна. Человек может быть сколько угодно популярным, обласканным славой, деньгами и

успехом при жизни. Однако если он не дал обществу никакого аутентичного знания, то следы его существования будут разлагаться вместе с его кишками, слизью и мозговыми оболочками. Наверняка его кости смогут прожить дольше всего остального.

— Ты делаешь все, что ты делаешь, чтобы потом, остаться в информационном поле?

— Я думаю, что лучше постараться сделать что-то и повлиять на коллективную память, пока ты живой. Мертвый ты уже точно ничего сделать не сможешь.

— Кому-то, упрощая жизнь в дальнейшем, чтобы им было лучше, чем нам? Это про улучшение или про изменение?

— Почему? Улучшения не будет. Скорее изменение.

— То есть изменение на перспективу.

— Да. Имеет значение эта коллективная память. Или культура. Это общая память, на которую каждый опирается. Например, один народ легко на раз-два делает политический перепорот. А другой народ хочет сделать, но не может. Не может, потому что нет социального рефлекса. А для выработки этого рефлекса действия каждого имеют значение. Понятно, что когда человек уже добился статуса или изначально обладает привилегированным положением, то он может направлять большие массы куда-то. Он может неожиданно оказаться предателем своего класса и направить общество в невыгодном для истеблишмента направлении. Но если у тебя нет привилегий, то это не снимает ответственности.

Ты можешь направить себя и внести в культурный пласт изменения. Это будет изменение на уровне прецедента, однако из множества таких прецедентов все и состоит. Но в любом случае формой своего существования каждый поддерживает определенную систему ценностей.

Это вопрос тождественности. Понятно, что это уже разговор о старом. Но в это я верю, что в этом и есть смысл.

— Я так и не услышала ответа на вопрос, боишься ты смерти не в контексте того, что ты что-то не успеешь сделать до смерти, а просто человек и смерть — ты ее боишься? Умереть боишься?

— Я могу сказать, что я просто не думал об этом.

Бюрократическая судорога и новая экономика политического искусства

Политическое искусство и органы власти. Ситуация порождает событие, за ним как тень наползает реакция. Многочисленные аппараты, инструменты и рычаги приходят в движение, пытаясь накрыть переизбытком своей возбужденной отчетности простую первоначальную очевидность. Высказывание, которое вчера было ответом и давало выход из конфликтного узла, — сегодня само становится вопросом и новым узлом, который начинает требовать всестороннего расследования со стороны компетентных органов. Система, в которой человеческое тело исполняет роль функционального элемента, а статистическое обобщение давно вышло за рамки отведенной ему когда-то функции. Статистика вместо подсчета и измерения стала инициировать и продуцировать. Надежный фундамент для Уголовного кодекса. Сборник статей, созданный для определения степени вины и соразмерности наказания стал идеологическим аппаратом. Его функция — это пошаговое определение всех форм действия и бездействия, допустимых на некой территории, отделенной от другой территории границами языка и государства. Внутри биомасса, фрагментарно перемещаемая по коридорам должностных обязательств и упорно шевелящаяся в индивидуальных вагонах животной покорности. Унылая предопределенность и необратимый износ — это единственный структурообразующий закон, царствующий здесь повсюду. И вся эта тяжеловесная структура приводится в движение и поддерживается грудой взаимозависимых рычагов и инструментов. Средства массовой информации — это голос и воля власти. Кто контролирует, что будет звучать с телеэкранов, тот контролирует противоречия. Каждый индивид желает иметь мнение по тому или иному вопросу. Его необходимо транслировать окружающим, чтобы демонстрировать свое понимание. Когда точку зрения формирует не уникальный опыт и непосредственное присутствие, а увиденная компиляция из изображений, звукового ряда и комментария, тогда источником понимания становится сетка телевизионного вещания. Структура сама продуцирует, сама формирует и сама отражает результат своей работы. Если отражение вдруг угрожает показать несоответствие, то производится необходимая корректировка. Орган массового информирования более других ответственен за поддержание нарратива власти. Продуктом его производства

стало общественное мнение. Оно и есть, то ключевое обобщение, которым оперирует статистика. Это ее экскремент, которым она же и питается. Статистика продуцируется СМИ и призывается на помощь тогда когда надо показать, что даже в самых жестоких проявлениях власть всего лишь покорно выполняет волю большинства. Этот инструмент — одновременно все и каждый. Общественное мнение — это и есть тот самый обыватель о безопасности которого так заботятся правоохранительная, пенитенциарная и здравоохранительная системы. Биологическая оболочка. Его функциональная задача это слушать и повторять. Этим он демонстрирует подчинение. Он — это основа и оправдание государственного порядка. Или по рядка общественного — не имеет значения. На рушить порядок — это перестать воплощать волю власти. Проявить несоответствие. Таким образом, транслируемая посредством СМИ и утвержденная статистикой воля власти утверждается в качестве единственно легитимного понимания. Закрепленная в этом качестве она становится клеем, превратившим человеческую общность в слипшуюся массу разрозненных тел.

Силовые структуры — инструмент пресечения. Их функция — это охрана общественного мнения от всего, что может доставлять неудовольствие власти. Изнутри они контролируются системой должностных обязательств. Эта система тотально покрывает паутиной своего управления все слои населения, предопределяя диапазон допустимых действий и контролируя свободу передвижения. Ее предпочтение — это те, чей ментальный и физический ресурс достаточно полон для того, чтобы опровергнуть навязанное понимание. Но системе должностных обязательств необходима поддержка. Ее обеспечивают две надежные категории, которые или еще слишком малы и беспомощны, или уже слишком изношены и слабы. Они требуют заботы, и власть превращает семейный инстинкт в заботу о безопасности конституционного строя. Дети и старики — надежный гарант усталого отдыха после тяжелого рабочего дня. Умерли дьяволы, бесы и прочая нечисть, но их смерть породила тварь еще ненасытнее в своем служении букве закона. Ментальная болезнь. Институт психиатрии — аппарат исключения, который общество не сможет исключить, пока не избавится от веры в нового демона. Пока его тень нависает над всеми, каждому может потребоваться помощь врача-психиатра. Но из руки помощи врач превратился в инструмент сегрегации. Что от чего он сегрегирует? Общественное мнение от всего, что хоть в какой-то мере может поколебать повседневность его монолитного покоя. Судебно-психиатрическая экспертиза служит

удобным аргументом, к которому прибегает власть, когда ей нужно легитимно устранить сбои, нарушающие установленный порядок. Экспертиза выявляет несоответствие — болезнь, требующую изоляции и проведения медикаментозной корректировки. В этом отношении образовательная система более других выполняет предупредительную роль, на другом полюсе этой от нее расположена система исправительная. На другом полюсе, но в рамках одной функции. Образовательная система формообразует и контролирует дальнейшее распределение той части биологического массива, который еще свободен от должностных обязательств и незначительно ограничен семейными обязанностями. Задача образовательной системы — это приучить потенциально свободном» индивида к диапазону допустимых действий удобных для установленного порядка. Именно там он приучается к выученной беспомощности и становится зависим от иерархии статусов. Пенитенциарная система — это тот инструмент сегрегации, который одновременно разделяет, управляет, устрашает и карает. В своей назидательной функции не сильно развившаяся со времен отрубленных голов на воротах крепостной ограды эта система значительно усовершенствовалась с точки зрения экономической эффективности. Она одна в форме исправительных колоний сумела сохранить те формы легитимного рабовладельческого строя, которые, казалось, были стерты многовековой историей крепостных бунтов, политических реформ и государственных переворотов. В этом отношении наибольшую эффективность доказали режимные зоны, а тюрьмы и психиатрические больницы не приносят очевидной пользы для экономики. Однако психиатрические больницы предоставляют бесконечно живой и разнообразный лабораторный материал для исследований, установления и изучения разных типов отклонений от нормы и поведенческих патологий. Именно это знание продуктивно использует инструмент, который охватывает всю сферу человеческого существования и основывается на животном инстинкте — страхе. Там, где хозяин становится буквальным, а жизнь должна стать выживанием — власть больше не декорируется и обнажает себя в оскале административной вседозволенности.

Именно это знание о специализированной области, отведенной для каждого, кто осмелился стать патологически неудобным, и является главной правоохранительной системой, на которую опирается продиктованный властью порядок. Безусловно, анализируя каждый аппарат, можно находить скрытые инструменты, и, разбирая каждый инструмент, можно

выявлять многие из рычагов управления. Основной вопрос состоит в том, кто желает быть болванкой, исполняющей функцию транслятора статистической общности? Кто желает быть той самой рамкой, которой он сам же насильно обусловлен? Вся эта совокупность рычагов, инструментов и аппаратов образует части нарратива, который контролируют те, кто называет себя властью. Однако у всех этих инструментов, несмотря на постоянное усовершенствование всевозможных мер безопасности, есть свойство, которое всегда будет делать их беззащитными для атак со стороны искусства. У каждого аппарата власти и инструмента управления есть имманентные правила, которые составляют их сущность — но правила их функционирования. Эти закономерности они обойти никак не могут при всем желании контролирующей их власти. Даже самые подконтрольные государственному департаменту США, самые ангажированные СМИ просто не могли бы промолчать о том, что в Нью-Йорке обрушены башни-близнецы. Средства массовой информации могут искажать, переворачивать, смещать акценты, додумывать и придумывать события, но они не в состоянии прекратить распространение информации. Интенсивность потока гарантирует зрительское внимание. Без аудитории в информационном ресурсе пропадает смысл — он будет не нужен ни рекламным агентствам, ни государственной машине пропаганды. Самое изощренное послание не достигнет адресата. Тем более в цифровую эпоху, когда Интернет и фотовидеокамеры стали неотъемлемы от жизнедеятельности человека, очевидно, что если не прокомментируют одни, то это без промедления сделают другие. Сотрудник при исполнении волочит за собой цепь служебного предписания, сильный грохот напоминает о том, что в цепи иерархий ему досталось место последнего звена. Звеньев много, и прежде чем эта цепь обовьется вокруг чьей-то шеи — она успевает наделать много шума. Когда его отголоски достигают общественного мнения, оно испытывает тревогу и начинает колебаться. Пропаганда истерично взывает к секторам понимания, наиболее подверженным влиянию телеканалов федерального значения. Статистика берет голос, и этим голосом говорит сегрегация. Общее место любого политического режима — это искусственно созданные фобии, предупреждающие человека от того, чтобы стать для власти помехой. Декоративное искусство всегда преследует только одну цель — обслужить заказчика. Принципиально другие цели стоят перед политическим искусством. Первоочередные из них просты — нарушать и разрушать нарратив власти. Когда нарратив нарушен — условность навязанных ограничений становится очевидной.

Инструменты контроля и подавления оказываются бездейственны, действие не являющееся предопределенной частью установленного регламента, показывает всю беспомощность управленческого механизма, который замирает в тупике, когда предписание обязывает его реагировать, но не предписывает, как именно это нужно делать. Обнажившиеся аппараты начинают щериться в поисках пригодной заплаты, прикрывающей собственную несостоятельность. Целый эпизод нарратива обесценивается, декорация сбита, однако каждая реакция рискует усугубить плачевную смехотворность. Должностная иерархия приходит в пагубное шевеление — начальство требует реагировать, однако исполнение приказания оборачивается против руководящего состава. Теперь искусство даже близко не подходит к тому, чтобы оформить режим — оно заставляет его работать на достижение собственных целей.

Если говорить о целях и задачах органов власти, то диапазон их действий значительно превосходит социально оправданную необходимость, которой они прикрыты для общественного мнения. На поверхности все выглядит как забота о безопасности населения и восстановление социальной справедливости. Ведь эта система настолько эффективно пресекает, определяет, распределяет и удерживает. Даже религия со всей своей сложной и веками отработанной системой дрессировки и убеждения вынуждена опираться на Уголовный кодекс как верную опору. Она ищет в нем помощи тогда, когда обещания неотвратимой кары в некоем призрачном будущем не имеют никакой силы. Одна ко кодекс самодостаточно воплощает силу, истину и власть в одном лице. Понимая себя в закончен ной на самой себе достаточности, он лишь номинально признает, а на деле скорее терпит другие сферы, влияющие на мышление, определяющее выбор тех или иных действий. Этот аппарат мыслит себя категориями абсолюта, и его цель определить рамками своего понимания всю сферу человеческого действия и бездействия, единственная область, которая ему не подвластна — психиатрическая патология. Для нее есть свод классификаций, распределяющих патологически несоответствующих индивидов по секторам усиленного контроля и медикаментозной корректировки. Но определение человека на стационарное лечение в психиатрическую больницу тюремного типа также находится в компетенции суда и экспертного сообщества. Уголовный кодекс наделил себя функцией последней инстанции в области определения истинности и допустимости идей и понимания. Его апофеоз в том, что ограниченным своей бюрократической сущностью языком он берется описывать,

разъяснять и нагромождать новые ограничения во всей многогранно непостоянной, бесконечно взаимозависимой и непрерывно видоизменяющейся реальности. Этот язык создавался как средство коммуникации для бумаг, постоянно курсирующих между различными по подведомственности канцеляриями и нотариальными конторами. Справочник для бесконечного разбора производственных, семейных и прочих повседневно-бытовых конфликтов разросся в своих возможностях руководства и подавления до состояния, о котором вряд ли могли мечтать первые бюрократы, писавшие «Правды» и «Судебники». Уголовный кодекс стал идеологическим аппаратом. Его враг — любая форма свободной мысли. Его маяк и ориентир — статистическая общность. Под нее он подминает, втаптывает и утрамбовывает всю множественность различных характеров и неоднородность тысяч различных ситуаций. Любое предварительно не согласованное событие всегда имеет свое начало — рапорт, и свой предел — отчет. Человеческое присутствие в этом процессе выражено интересами секретаря, дорвавшегося до кабинетной власти, позволяющей ему выносить определения на жизни других людей. Несложно догадаться, за какие детские обиды от одноклассников, соседей, членов семьи и просто встреченных людей теперь отыгрывается многорукий секретарь, мстительно орудуя печатями, штампами и определениями. Однажды испытав на себе всю непредсказуемость и неоднозначность опережающего его понимание движение событий, он сжался и закрылся от него в надежном кабинете. Там под непрерывным присмотром меняющегося в званиях, но всегда неизменного в своем присутствии начальника его мир сузился до размеров бумажного листа формата А4. Сузился и начал застывать, позволяя ригидному процессу все больше превращать его в костную массу, выражающую гомогенную и ничем не поколебимую государственную благонадежность. Бумажный лист. Заполненный по форме, в нужной последовательности заверенный всеми необходимыми подписями печатями, — это начало, основание и право на производство всех последующих определений, которыми бюрократ уверенно направляет источник своей детской травмы за сегрегирующую стену. Так он отдаляет от себя тревожащие воспоминания. Там они будут надежно изолированы вместе с другими видами патологической жизнедеятельности. Там эта форма реальности, возвращающаяся к нему с каждым новым делом, будет отгорожена километрами, заборами, собака ми, охраной, халатами, медикаментами. Все эти меры должны подарить ему хоть каплю уверенности в том, что никакая часть ее, никакие отголоски не смогут напомнить ему,

почему его жизнь проходит в заваленном бумагой кабинете под бдительным присмотром начальства.

Цели искусства. Можно сказать, что не все средства передают сообщение цели. Бессмысленно обсуждать искусство декоративное — своим свойством оно ничем не отличается от пропаганды. Пропаганда оформляет режим, скрывает его уродливые стороны, она встает плотной стеной между истиной и взглядом. Этим же занято и оформительское искусство, оно декорирует и придает эстетическое звучание всему, за что платит заказчик. Его цель обслужить и удовлетворить того заказчика, у которого больше денег. Конечно, в рамках этих задач и целей самым желанным заказчиком было есть и остается государство — ведь оно так богато. Оно собирает большие налоги. Декоратор сродни проститутке. Он также отказывается от всякой ответственности за свой выбор и с готовностью ложится под Любого, кто готов хорошо заплатить. В этом смысле декоративное искусство — это проституция одновременно и этическая, и политическая. Однако чем может являться искусство, которое не озабочено проблемой проституирования? Искусство — это работа со смыслами и формой выражения этих смыслов. Смысл несет в себе предназначение. А это область непосредственного понимания. Можно понимать себя как слугу, обязанного терпеливо изнашивать свое тело для укрепления положения своего хозяина, а можно понимать, что никакой обязанности нет. Хозяин появляется лишь там, где ему позволяют быть. Жизнь как подчинение или жизнь как освобождение? На одной стороне всегда будет тот, кто принимает решение и берет на себя ответственность за этот выбор. На другой бесконечная череда предупреждающих, пресекающих, обвиняющих и препятствующих всеми доступными на этот момент средствами. Инструменты и рычаги управления здесь обычно понимаются как основа препятствия. Они действительно становятся препятствием во всех случаях, когда искусство не является политическим. Политическое искусство исходит из неизбежности присутствия всех этих бесконечно совершенствующихся инструментов для подавления и управления личностью и использует это понимание с целью оборота их действия против тех, кто эти инструменты и учредил. Государство просто не может желать, чтобы на его территории возникали и множились формы свободной мысли, так как каждая из этих форм содержит в себе непредсказуемость а это для власти всегда несет потенциальную опасность. Забота о безопасности предписывав пресечь и предотвратить всякое несоответствие и по возможности полностью его нейтрализовать. Помимо этого государство желает, чтобы все формы мысли,

которые воплощаются на его территории, доставляли ему немедленное и очевидное удовольствие. В этом нежелании обслуживать того, в чьих руках находится власть, политическое искусство обозначает свою освободительную функцию. Его цель — это опровержение нарратива власти. Голос власти: «Слушай, повторяй, подчиняйся!» Голос искусства: «Говори, опровергай, сопротивляйся!» Когда политическое искусство приходит в действие, условность и искусственность навязанных предписаний обнажают свою рабскую беспомощность. Искусственные нагромождения регламентированных слов и действий начинают бессмысленно чередоваться, пытаясь наугад выбить, слабое звено, чтобы за ним рассыпалась вся последовательность. Однако регламент загоняет слова в тупик и становится их собственным при говором. Бюрократ сводит себя судорогой рапортов, уведомлений и постановлений. Общественное мнение сконфуженно прячет голову, ощетиниваясь гримасами собственного предубеждения. Оно колеблется в поисках монолитного понимания, которым кормила ее ежедневно-телевизионная пропаганда. Кто позаботится о безопасности?

Может, политическое искусство — это только прикрытие. Хитрая декорация, ловко оформляющая тот сегмент политической мысли, который зовет себя анархизмом. В чем тогда оно будет искать свое отличие от проституирования на матрасе государственной идеологии? Или оно убедительно будет душить себя в оправдательной риторике левоправостороннего диапазона отличий. В таком случае весь голос свободной мысли сведется к монотонному цитированию, принятому на общем голосовании и утвержденному большинством партийных голосов. К прочтению обязательно. «Слушаю, повторяю, оформляю», — отвечает партийный художник. Принимаясь за выполнение праволевостороннего заказа, он, пугливо оглядываясь по обеим сторонам, начинает метить его неопровержимыми признаками принадлежности. Правой или левой. Это не имеет значения. Все зависит от того, где в данный эпизод своей жизни оказался оформитель. Главная задача — это не совершить опасной ошибки, необходимо проявить всю осмотрительность и осторожность. Проявленная мысль должна выражать наибольшее корпоративное соответствие. Наша корпорация хорошая, а их плохая. Нужно действовать очень аккуратно, чтобы никто вдруг не подумал, что он тот, а не этот. Левый или правый. Это не имеет значения. На деле значение имеет лишь то, что, какую бы партию, субкультуру или движение не оформляло искусство — оно ни на шаг, не приблизится к тому, чтобы стать политическим. Оно всегда будет выдавать свою трусливую оформительскую сущность,

выползающую отовсюду корпоративными метками. Более нелепого парадокса, чем искусство, оформляющее анархистскую субкультуру, найти невозможно. Потому что искусство в принципе своем анархично. Его исторический и политический процесс — это и есть борьба за воплощение форм свободной мысли. Однако в тот момент, когда оно начинает что-либо оформлять — оно превращается в свою принципиальную противоположность. В проституирующую своей угодливостью декорацию.

Нарратив власти. Его ежедневно повествуют газетные заголовки и страницы телеэкранов. Слагая слова, изображения и звуки, власть плетет историю заботы о безопасности. Безопасность плетется из предрассудков, фобий и мнений. Чем плотнее ткань безопасности, тем послушнее население идет на работу, учебу или куда укажут. Например, на войну. Или на митинг в поддержку войны. Или в банк, чтобы получить ипотеку на наиболее выгодных условиях. Необходимо рожать детей, и места для проживания в квартире требуется все больше и больше. Нужно позаботиться об условиях совместного проживания. Государство заботится о вашей безопасности, а вы должны позаботиться о безопасности ваших детей. Вы должны обезопасить их хрупкий мозг от информации, которая может причинить вред их здоровью и раз-питию. Необходимо внимательно следить за теми, кто хочет эту информацию распространить. Нельзя допустить, чтобы в ткани заботы о безопасности присутствовали эпизодические изображения или описания жестокости и насилия с натуралистическим показом процесса лишения жизни или нанесения увечий. При условии, что не выражается сострадание к жертве и отрицательное, осуждающее отношение к жестокости, насилию. За исключением насилия, применяемого в случаях защиты прав граждан и охраняемых законом интересов общества или государства. Так говорит закон о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. Монополия на насилие — признак легитимного государства. Информационный контроль стал голосом заботы о детстве. Исключением здесь и является та единственная безопасность, о которой заботится власть. Население — это биологический материал для построения государственности. Стабильная государственность — надежная защита для власти. И общественного мнения, которое эту государственность выражает и поддерживает. Нарратив власти — это бесконечная вереница образов, рассказывающих, кто прав и кто виноват. Чего нужно бояться, а к чему стремиться. В кого верить и о чем говорить. О чем молчать. Нарратив — власти это и

есть ее забота о своей безопасности. Только испуганный, послушный и полностью предсказуемый индивидуум может быть полноценно безопасным для власти. Он прочно вплетен в плотную ткань из повседневных страхов, забот и должностных обязательств. Он предсказуем в повторении и транслировании общественного мнения. И от этого мнения неотделимо его понимание. Но повседневность привычна, масса давно нечувствительна к ее плотности. Что сделать? Достаточно задумать действие и приступить к воплощению задуманного. Тогда настолько уже привычная и потому не всегда ощутимая плотность ткани превратится в вязкую трясину, из которой не всегда с легкостью удается выбраться. Все фобии вцепятся в тело сотней мнений с телеэкранов, предписания будут вырастать как грибы и отравлять тех, кто еще вчера говорил о своей решительности. Все инструменты и рычаги управления проявляются со всей отчетливостью, на которую они только способны. Инструменты продуцирую! фобии. Воля вступает в конфликт со страхом. Страх заставляет бежать и прятаться тех, кто еще вчера говорил решительные слова. Трусость ищет оправдания. Сотни неотложных дел и взятых на себя должностных обязательств встают надежной защитой для трусости. Иногда этот инструмент заявляет себя в полную силу и, ничем не прикрываясь, манифестирует: «Я не боюсь сказать, что я боюсь! У меня есть право на страх, я слишком цивилизован, чтобы от него отказываться!» Да, действительно никто не сможет отнять у человека право обоссаться при мысли о том, что он может чем-то не угодить власти. На страже этих прав стоит государство. Сторожит права и заботится о своей безопасности. Достаточно задумать действие, чтобы инструменты проявились своею отчетливостью. Но этого недостаточно, чтобы помять их призрачность. Когда действие осуществлено, фобии рассеиваются, и человек видит их искусственность. Однако этим он нарушает права тех, кто хочет спокойно довольствоваться своим страхом. Нарратив обнаруживает свою ложь. Общественное мнение начинает колебаться. Власть вступает в реакцию — необходимо вернуть однородную плотность. Предупредительные меры не помогли — в дело идут исправительные. Исправить — это вернуть в состояние нормы, восстановить социальную справедливость. Значит, в дело должна войти сегрегация, она надежно обезопасит норму от патологии. Патология преступная или психиатрическая? С этим еще предстоит разобраться, главное, чтобы был рапорт. Он будет началом и процессуальным ответом на все вопросы о причинах возбуждения дела. Инструменты власти работают на основании того, что их

действия — это всегда нейтрализация. Этим заблуждением и пользуется политическое искусство. Возбуждение административных и уголовных дел — это не нейтрализация, а начало процесса по утверждению границ и форм политического искусства. Сущность конфликта политического искусства и нарратива власти в том, что политическое искусство при всем разнообразии своих методик и форм всегда остается освободительной практикой. Наряду с животным инстинктом страха у человека присутствует стремление к освобождению от условий, которые делают его жизнь неотличимой от существования скотины.

Пусть даже очень хорошо откормленной скотины. Политическое искусство раздирает декорацию, и действительность загона раскрывает всю жестокость в своей предопределенности. Но задача власти — это непрерывная реставрация декоративной надстройки. В непрерывной реставрационной работе государство исполняет служебный долг — противодействует, пресекает и исправляет. Оно заботливо охраняет общество от демонстрации сцен жестокости и насилия.

Каждый охотник желает знать, где живет фазан. Каждый сотрудник органов внутренних дел обязан доложить о происшествии в рапорте. Это основание пирамиды из протоколов, допросов, ходатайств, доносов, жалоб, постановлений, определений и экспертиз. Рапорт — это та черепаха, на прочном панцире которой покоится весь тяжеловесный свод идеологического аппарата. Уголовный кодекс ежедневно требует своего подтверждения, раз за разом его необходимо утверждать как единую для всех и необратимую в своих вердиктах идеологию. Иначе она растворится как гематома, которую перестали бить. Процесс состоит из набора регламентированных действий, каждое из них ежедневно воспроизводится в отделах, кабинетах, залах и канцеляриях. Ригидность удерживается за счет однообразных повторений. Вся неоднородность и неоднозначность события во всех его ситуативных проявлениях должна быть сведена к отрицанию многообразия как такового. Оно больше не таит в себе загадок, оно раскрыто пониманию через несколько брошюр по измерению степени вины и соразмерности наказания. Монолит общности не приемлет разнообразия единичных ситуаций. Ежеквартальная статистика требует пищи. Ее слуги — опера, полицейские, следователи, прокуроры и судьи ежедневно несут свежий корм. Они монотонно повторяют свой ритуал, не различимые в своем религиозном усердии с первобытным аборигеном, иступленно задабривающим свой тотем. Они одинаковы в своем служении идолу. Он

выражает их страх перед непониманием стихии и природы. Различие их идолов в том, что один изначально вытесан из камня, а другой не из чего не вытесан, а потому постоянно требует поддержания искусственной окаменелости. Эта глыба должна быть не просто сыта, она должна быть раскормлена до столь тревожного состояния, чтобы ее масса нависала над каждым, кто позволит себе усомниться в ее неизбежном присутствии. Но идол никогда не сможет насытиться, потому как он изначально мертв — он живет в сознании своих слуг, замещая собой детский страх перед непрерывным потоком событий и непостоянством новых ситуаций. В стремлении стать куском, который встанет костью в горле ненасытного аппарата, художник не позволяет себе относиться к возбуждению административных или уголовных дел как к проблеме. Он понимает это как начало процесса по утверждению границ и форм политического искусства. Это отношение становится необходимым элементом сопротивления, так как оно опровергает навязанный страх перед тем, что слуги вырвут индивидуума из движения массы и сделают его объектом для исполнения бюрократического ритуал.» Весь вопрос в том, кто кого поймал. Выпущенный на охоту за головами, каннибал остается в уверенности, что он добывает корм своим богам лишь до того времени, пока не обнаружит себя в свете прожекторов на арене цирка. Одна ко там руководствуясь столь привычным для себя ритмом ритуального танца, он производит впечатление дрессированного животного, наряженного в экзотический костюм и послушно исполняющего отведенную программой роль. Теперь его усердие не продуцирует смерть — оно вызывает шквал зрительских оваций.

Тело государства. Глава государства, система органов власти, функции законодательных органов, избирательные органы, федеральные органы исполнительной власти, органы управления, правоохранительные органы, органы прокуратуры, судебные органы, сотрудники органов внутренних дел. Система, ветви и множество ее органов, каждый из которых представляет систему организаций, учреждений, подразделений, отделов и актов. Анатомическое название — еще не признак. Очередная декорация. Еще один фальшивый способ вдохнуть жизнь в структуру, назначение которой умерщвлять само желание жизни. Этот органический конструкт пульсирует в голове каждого, кто оказывается на подконтрольной ему территории. Секретариат. Бюрократический онанизм на порождение фантазма об абсолюте секретарской власти. Что противопоставить аппарату, функционирующему на основании собственного и почти всегда чужеродного для человеческого сознания алгоритма? Будучи

анатомичным в своем наименовании, он сумел подчинить человеческую физиологию сухому регламенту бюрократического воспроизводства.

Человеческий субъект стал объектом перераспределения прокурорских определений и судебных постановлений. На выходе итог — объект обвинения. Необходимо противостоять ежедневной объективации. Это сопротивление нужно довести до уровня дыхательного рефлекса. Как дыхание отделяет живое тело от окоченелого трупа, так и отстаивание статуса субъекта отделяет жизнь от мертвенно объектного покоя. Это поле сопротивления оставляет за рамкой количественный вопрос. Вопрос количества отделяет политическое искусство как перманентную форму отстаивания себя, от той степени его интенсивности, которая называется народным восстанием. А как же беспорядки? Как можно называть искусством то, от чего погибают люди? Так же как называют искусством пирамиды Хеопса. Но это возможно только в том случае, если монополия на присвоение имени искусства не принадлежит только тем событиям, которые инициированы аппаратами власти. Можно только догадываться, сколько рабов погибло при постройке египетских пирамид. И целью постройки было создание гробницы — объекта ритуального назначения, а никак не произведения, всецело определяющего себя функцией стерильной эстетики. Стоило бы задать вопрос по-другому: почему действия направленные на оформление власти, охотнее признаются искусством, чем действия направленные на освобождения от этой власти? Если при постройке архитектурного сооружения гибнет строитель, а само сооружение стало событием в мире архитектуры — станет ли эта гибель основанием для лишения этого здания статуса произведения архитектурного искусства? Люди погибают не из-за участия в практиках коллективного освобождения. Они гибнут вследствие применения боевого оружия. Это оружие применяет власть, отстаивая свое право монополии на насилие. Государство утверждает себя ежедневным повторением признаков государственности. Однако ответственность за утверждение собственного признака, аппараты власти перекладывают на тех, кто более остальных не согласен принимать эти признаки как данность. Вопрос о том, на кого возложить ответственность, играет сегодня ключевую роль — ведь никто не хочет быть заподозренным в тоталитаризме. Китайская Народная Республика и Северная Корея — для демократических государств это достаточно красноречивые примеры диктатур, бесстыдно открытых общественному вниманию. Однажды прикрыв анатомическими наименованиями механику бюрократического

процесса, режим недиктатуры примеряет маску ханжеского честолюбия. И она приходится впору. Ханжа ищет чужой вины и существует только за счет обвинения другого в своем собственном пороке. Так и нетоталитарное государство существует за счет обвинения несогласных в том насилии, которым оно само же с ними и расправляется. В этом случае люди, Поднимающиеся против принуждения и насилии, не являются виноватыми в том, что кого-то из них государство убивает, чтобы посредством того запугать остальных. Зачастую в борьбе за свое освобождение коллективному или индивидуальному субъекту удается преобразовать пространство своего действия, наделив его новыми смыслами — это дает основания называть те или иные формы проявления этих смыслов политическим искусством. Репрессивные признаки государственности — это то, с чем политическое искусство вынуждено взаимодействовать в процессе своего осуществления. Они являются частью борьбы ровно потому, что власть наделила себя функцией их производства. Опровержение навязанного понимания этих признаков, как будто необходимых для общественной организации, — вот цель, которую ставит перед собой политическое искусство. Но одного производства всегда оказывается недостаточно, потому как в этом случае искусство герметизируется. Оно становится замкнутым на самом себе и не воспроизводит ничего, кроме собственных повторений. Политическое искусство всегда стоит перед необходимостью действовать, но помимо этого оно должно быть внимательным к тому, чтобы видеть в политическом действии потенциал искусства. Только посредством этого оно может работать с расширением границ и увеличением многообразия форм своего дискурса. В том случае, если действие осуществлено с политическим намерением, но в нем содержится потенциал искусства, оно требует быть увиденным и переведенным в поле работы со значениями и смыслами. Оттуда оно может осуществиться как форма политического искусства и через это стать событием, воздействующим на области понимания. Изменение понимания реальности способно изменять саму ее ткань, так как сама реальность непрерывно ткется и конструируется в своем историческом переопределении. Когда политическое искусство уже осуществилось как событие, то процесс по утверждению его границ и форм начинается в тот момент, когда ослепший в необходимости реакции репрессивный аппарат власти вцепляется в его прецедент. Цель аппарата — это нейтрализация. Бюрократ стремится определить преступлением любое явление, которое расходится с привычным для него

регламентом. Верные бюрократическому долгу сотрудники органов внутренних дел полагают, что, называя прецедент политического искусства преступлением, они добьются значительного влияния на общественное мнение. Под прикрытием функции пресечения они пытаются наделить себя функцией именования. Ненасытный в своем желании тотального контроля, бюрократ лезет в область работы с означающим и означаемым. Однако в силу своего ограниченного регламентом мышления он с трудом представляет, что это может означать для него. Если художник не позволит трусости руководить своими мыслями и действиями, то сведенный судорогой своего непонимания бюрократ попросту сломает себе хребет в тщетной попытке выпутаться из паутины, в которую он так простодушно сумел угодить. Производительное значение имеет только паутина и ее расположение в пространстве. Показателем удачного положения становится обилие пойманных мух. Ведомое запахом разложения государственной органики, жужжащее членистоногое запутывается в структурном рисунке метафор и смыслов. Оно их не воспринимает и, повинуясь инстинкту движения, с каждым взмахом крыльев прилипает все больше. Единственное, что может сделать запутавшийся в ситуации бюрократ — это прекратить всякое движение и покорно ждать, пока его кто-нибудь освободит. Но для того чтобы делать искусство, которое само сможет стать практикой освобождения, нужно, прежде всего, освободить свои руки. Освобождая руки и позволяя власти самой вести процесс по разоблачению себя, художник предоставляет системе возможность проявиться в истинной гримасе, обычно скрываемой за декорацией повседневной привычности. Есть много способов связать человеку руки. О каком освобождении может говорить тот, кто скован экономикой ежедневного обязательства. Дом — учеба — дом — работа — дом. Эта схема контроля банальностью. Трюизм, доведенный до неопровержимости своего повсеместного присутствия. Мать нянчится, студент учится, строитель строит, военный воюет, персонал обслуживает, музыкант играет, актер исполняет, художник лепит, мастерит, рисует — бюрократ торжествует. И вместе с ним торжествует регламент — ведь каждый надежно упакован в своем диапазоне допустимых колебаний. Бюрократические аппараты давно освободили себя от работы по управлению населением, они только контролируют процесс, в котором биологические массы сами принуждают себя исполнять волю власти. Нагрузив себя обязательством повиновения, люди сами освободили власть от возложенных на нее обязательств. Принуждение — руками принуждающихся. Это и есть властная экономика ежедневного обязательства.

Политическое искусство отвечает власти экономикой свободных рук. Пусть власть исполняет работу искусства своими собственными руками. По крайней мере тогда в ее аппаратах можно разглядеть хоть какой-нибудь смысл.

Экономика — это соотношение эффективности действия и затрат на его осуществление. В тот момент, когда нарратив не встречает повторения и подчинения, он обнаруживает себя в беспомощном вакууме собственной эфемерности. Происходит встреча с фигурой умолчания. В этот момент декорация смещается. При внешней стабильности баланс конструкции столь шаток, что любой сдвиг в сторону от регламентированной механики способен пошатнуть тотем повседневности.

Сохранение стабильности — гарант защиты государственного строя. Декорация нуждается в непрерывной реставрации. Должностные обязательства принуждают приступить к делопроизводству. «Я получил указания и обязан их исполнять», гак оправдывает себя функция. «Моя позиция не имеет значения, я выполняю приказ», — обезличенный элемент принуждает суставы к движению согласно полученным инструкциям. С этого момента каждое его двигательное усилие манифестирует триумф бюрократической машины. Страх бюрократа принуждает его к расщеплению. В обмен на право принимать участие в сегрегации неудобных он расплачивается сегрегацией самого себя. Простой вопрос о позиции приводит функцию в тупик. «Моя позиция как кого?» — это вопрос исполнителя указания. Этим он констатирует у себя признак того, что психиатрия называет шизофренией. Его ум расколот. Бюрократ попадает в собственный капкан психического отклонения. Он больше не может иметь позицию и в согласии с ней принимать решения и совершать действия. Его внутреннее убеждение — это хозяйский приказ. Наличие должностной иерархии убеждает его исполнять. Он слушается, он повторяет и подчиняется, но он разделен. Его обезличенная исполнительность скрывает внутреннее противоречие между тем, что он делает, и тем, для чего это делать нужно. Несмотря на все меры по исключению не соответствующих установленному стандарту позиций, противоречие дает о себе знать, разрывая обязательство с действительностью. Этот разрыв и является тем единственным, что заставляет бюрократическую функцию давать сбои и самой нарушать упорядоченный регламент производства статистики. Безусловно, умерщвление мыслительного процесса придает функциональному элементу ту степень обезличенности, которая обеспечивает необходимое соответствие занимаемой должности. Однако вместе с этим соответствием у обезличенной функции

появляется неотъемлемый спутник. Разрыв движется на одной параллели со всеми процессами, нарушает слаженный ход секретарских аппаратов и органов. И вместе с этим разрыв становится единственной защитой, обеспечивающей психологический комфорт для того, кто снимает с себя ответственность за исполняемое действие. Теперь бюрократ может позволить себе сочетать исполнительность с самыми глубокими побуждениями к сентиментальности. Душить с чувством глубокой любезности. Безусловно, руки и любезность надежно отделены друг от друга. То, что я делаю — это не я, — оправдание диагностирует распад процессов мышления. Бюрократический аппарат вынужден довольствоваться только опорно-двигательным аппаратом человеческой функции и расколотыми фрагментами ее расщепленного рассудка. Разрыв — это тот остаток человеческого, с которым механика делопроизводства вынуждена смириться, так как его ликвидация лишит функцию защиты от контакта с действительностью, что приведет ее органические ткани к быстрому разрушению. Неустранимый дефект, который напоминает о том, что система была порождением человека. Это ее плата за то, что она вынуждена использовать его как биологический материал для своего непрерывного воспроизводства. Разрыв — это та гонкая грань, которая отделяет бюрократический аппарат от превращения в непогрешимый механизм, обладающий эффектом тотального контроля и принуждения. И это то, что оставляет возможность для сопротивления ее процессам по нейтрализации политического искусства. Несмотря на численность аппарата, его финансовые, технические, правовые и карательные возможности, разрыв дают возможность работать с утверждением границ и форм политического искусства, находясь в преимущественном положении субъекта по отношению к бюрократу. Он, находясь при исполнении служебных обязанностей, за рамки объектной роли уже не выйдет. Разрыв дает бюрократу возможность выхода из состояния функции, но вместе с функцией он оставляет и должность. В чем преимущество безвластного субъекта перед объектом, наделенным властными полномочиями? Прежде всего в том, что эта власть ограничивает объект, который ею наделен. Его власть ограничена, и он сам ограничен вышестоящей властью. Он действует согласно предписаниям, которые сводят его власть к исполнению. Условием сохранения такой власти становится исполнительность. В действительности такой представитель власти нагружен вдвойне — он изначально определен ролью слуги и одновременно с этим подавлен теми регламентами и предписаниями, за соблюдением которых он обязан следить.

Заключенный и надсмотрщик в одном лице. «Дядя Степа — милиционер» в веселой поэме для детей Сергея Михалкова. Книжка по заказу Он — это репрезентация того, что власть хочет видеть во всех и каждом. Это утопия, на реализацию которой она направляет все силы своего просвещения. И это то, на что политическое искусство направляет все силы своего сопротивления. Оставляя за собой возможности выбора, освобождая свои руки от обязательства повседневности, субъект освобождает то единственное, что ему принадлежит в действительности — свое время. Он возвращает себе то, что было изъято каждый раз, когда его уступчивость позволяла ему задействовать себя в качестве исполнителя. Не так и сложно прийти к выводу о том, что вопрос обладания временем становится вопросом субъект объектного отношения. Не важно, восьми или двенадцатичасовой у тебя рабочий день. Важно то, что в сутках их только двадцать четыре. И каждый день своего требует — сон. Простая калькуляция позволяет сосчитать, кому оно действительно принадлежит. Может ли бесконечная вереница товаров, сопутствующих комфортабельному износу, компенсировать хотя бы шаг на пути к смерти? Знание, доступное всем, но далеко не все принимают решение борьбы за собственную жизнь. Соглашаясь с собой как ежедневным объектом удовлетворения чьего-то интереса, человек соглашается с положением комфортного трупа. Остается вопрос, чей комфорт обеспечивается этим положением? Очевидно, что комфорт того, кто но время себе присвоил, потому как сложно нажать комфортным процесс разложения на пути к больничным коридорам и могильной дыре. Безболезненность — это то, что расходуемый объект получает в обмен на свою покорность. Комфортабельность — это великий миф, который подменяет собой безболезненность. Компенсация за отнятое время — это инъекция анестезии, позволяющая не чувствовать собственного распада. Но действие анестезии не способно излечить от необратимого процесса и источника боли. Она всюду следует за объектом принуждения и вгрызается в него, когда действие одной инъекции уже подходит к концу, а следующая еще не получена. Встреча с болезненным кошмаром становится тем мощным стимулом, который принуждает исполнителя желать, чтобы его объективация длилась непрерывно. Дрессировка анестезией и страхом боли от ее прекращения затмевают инъекционными схемами даже воспоминания о том, что время может быть своим. Освобождение времени не означает полное прекращение деятельности, его свободу определяет лишь то, кто является его хозяином. Деньги — это не хозяин, но им одинаково может быть

и заказчик, и товар. «Ты подумал, чем ты будешь кормить детей!?» И вот с довольным урчанием детский желудок переваривает остатки жизни бывшего субъекта и превращает его в раба пищеварительной системы. А вместе с ней и в раба того, кто согласится компенсировать расход. Однако если временной расход соответствует намерению освободиться от того, кто контролирует и управляет, если часы измеряются борьбой за воплощение свободной мысли — то субъект возвращает себя, а хозяином времени становится его стремление к свободе. Но при таком стремлении рано или поздно происходит встречся с сентиментальным бюрократом. Он разорван и с трудом понимает, для чего он должен что-то делать, но все так же подчинен своей исполнительности. Больше всего он обеспокоен, почему это делается его же руками, но руки продолжают движение, и наивный бюрократ полагает, что его обеспокоенность снимает с него хоть какую-то долю ответственности. И вот с одной стороны, оказывается прикрытый обезличенностью, четко определяемый властными полномочиями, но от этого не менее расщепленный бюрократ. А с другой — безвластный субъект, владеющий своим временем и свободными для действия руками. Ответственность бюрократа определяется своевременным отчетом на столе начальника, субъект отвечает только за сохранение события, которое аппарат хочет нейтрализовать. Борьба за сохранение, это борьба за именование. У аппарата много имен, которыми он хочет нарушить аутентичность высказывания. Например «патология» или «преступление». Именование — это не только влияние на общественное мнение, это работа с набором кодов, то есть непосредственно с культурой. Пытаясь распоряжаться именованиями, расщепленный бюрократ пытается управлять эмоциями и пониманием, попросту он хочет подчинить культуру своему способу мышления. Его мышление — это функция и раскол. Кто даст согласие быть частью этой культуры? Борьба против нейтрализации высказывания становится борьбой против обезличивания и расщепления культуры. Даже получив «особое распоряжение», сентиментальный бюрократ ничего не может сделать со знаком или символом, пока субъект действия ему этого не позволит. Никакой притвор не имеет значения, пока признание вины не приговорит все, что было до этого сделано. Входя в процесс по утверждению границ и форм политического искусства, художник имеет неоспоримое преимущество субъекта, понимающего цель, задачи и смысловую подвижность ситуации. И если его трусость не открывает дорогу бюрократическим уловкам — его положение беспроигрышно. Потому как цель политического искусства — это разрушение декораций власти, и

если государство попытается подавить высказывание репрессией, то оно неизбежно вынуждается к демонстрации того, чем оно является в действительности, а именно бюрократической машиной, расправляющейся с каждым, кто посмел выйти за рамку повседневного функционирования. В этом случае сама функция сегрегации и устрашения перестает быть карательной — она начинает разрушать лживую декорацию «всеобщего благополучия». Результат говорит о том, что власть разрушает декорацию и борется с собой своими собственными руками — этим она работает на достижение целей и выполнение задач новой экономики политического искусства. Если же страх повреждения декорации подавляет наработанный алгоритм реакции, и аппараты боятся обнажить избыточность карательных мер, то борьба за воплощение форм свободной мысли оказывается выигранной. Регламент предъявляет себя в своей недействительности. Теперь это дрессированная власть. Выигранное время заставляет ее стать декорацией собственной эфемерности. Больше она не разлагает общество фантомом повседневного обязательства. Границы искусства открываются многообразием значений и форм. Тотальный контроль предстает набором навязанных фобий, а свободные руки демонстрируют, что никакая власть не может принуждать без рук самих принуждающихся.

Следствие

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Ну что?

ПАВЛЕНСКИЙ: Пятьдесят первая. Я, может быть, буду давать какие-то показания. Буду говорить о своих мотивах и намерениях. О процессе искусства.

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Я понимаю, что это искусство и против искусства ничего не имею. И государство наше против искусства ничего не имеет. Это не 80-е годы. И не Советский Союз. Но вы должны разграничивать искусство и совершение противоправных действий.

ПАВЛЕНСКИЙ: На самом деле нет границы, противоправные действия — это некая риторика, в которую пробуют облечь искусство.

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Вдруг потом, не дай бог, конечно, вы кого-нибудь убьете.

ПАВЛЕНСКИЙ: Я очень трепетно отношусь к чужим жизням, даже мясо не ем.

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Прикольно. Вы возьмете и ради искусства

убьете человека. Но это искусство убивать, помните, был такой чувак с усами и челкой, тоже можно назвать искусством. Понимаете.

Смотрели «Два капитана-два»? Там был доктор Фаргус, он родился без ног и был призван громить и уничтожать архитектуру.

ПАВЛЕНСКИЙ: Гюстав Курбе, он же повалил Вандомскую колонну.

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Или, не дай бог, ни в коем случае, а такие случаи будут еще, чтобы никто не стал жертвой такого искусства. И вот при ходит человек и говорит — это искусство, а оно требует жертв.

ПАВЛЕНСКИЙ: То, что вы говорите, понимаю, но мы должны тогда опираться на факты. Во всех акциях, которые я проводил, не было ни одной жертвы, только я сам, если это слово здесь вообще употребимо.

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Вы понимаете, что поджигать покрышки на архитектурном сооружении, давайте признаемся, что Малый Конюшенный мост — это архитектурное сооружение, я понимаю, была бы это улица.

ПАВЛЕНСКИЙ: Брусчатку, которая состоит из гранита, а гранит — это огнеупорный материал, не дерево, не деревянный мост. Если бы это было в парке, может, деревья бы вспыхнули, а так это гранит, камень.

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Я не против. Дело здесь не в ущербе, дело в самом просто осквернении. Это то же самое, что сесть и на Мавзолей насрать.

ПАВЛЕНСКИЙ: А что мы подразумеваем под словом «осквернение»? Осквернение — это нарушение чего-то. Нарушается порядок отношения между двумя обществами, российское общество, украинское общество.

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Вопрос не в обществах, а в восприятии каждым отдельным обществом такой же ситуации.

Вы говорите о предпосылках, а я пытаюсь донести до вас сведения о последствиях. Вы более глобально мыслите, что общество, общества, какие-то страны приводите, органы государственной власти, к которым я отношусь, расценивают это как акт вандализма. Я не утверждаю, что это вы подожгли. Пока вас никто в этом не подозревает. Вы являетесь по этому уголовному делу свидетелем. И действия неустановленных лиц, которые подожгли покрышки на мосту, они квалифицируются как вандализм.

ПАВЛЕНСКИЙ: Мы сейчас говорим об одном и том же.

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Вы говорите о том, что пытаетесь помирить

общества, а я говорю о примитивном искусном поджоге покрышек. Никто не подозревает лиц за их нравственные убеждения. Преследуют лиц за поджог покрышек. Никаких квалифицирующих признаков по мотивам вражды его нету.

Вопрос в том, что группа лиц взяла и подожгла покрышки на мосту.

ПАВЛЕНСКИЙ: Сейчас идет разговор о том, чтобы символический жест втиснуть в какую-то формулировку. Так можно взять стихотворение, его втиснуть, а потом от этого говорить. Это не лист бумаги, эта плоскость многогранна.

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Это как раз одна плоскость, которая расследуется и рассматривается с точки зрения уголовно процессуального дела и законодательного.

ПАВЛЕНСКИЙ: Хорошо, мы принимаем эту плоскость, но эта плоскость как раз является предметом искусства. Политического… По крайней мере одним из инструментов это и большой системы, в рамках которой и осуществляется политическое искусство.

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Вот убили человека, убили каким-то эстетическим, красивым способом, как Ганнибал Лектор. Это был акт искусства, а вот то, что кишки у него вывалились, — это что-то побочное, это мы давайте не будем рассматривать. А вот смотрите, как красиво получилось.

ПАВЛЕНСКИЙ: Это вопрос этики. Это этический вопрос по отношению к тому, кто это сделал. Есть мертвое тело, человек лишен жизни, это является фактом. Мертвый человек — это уже объект. Меня этому в художественном институте учили.

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Пришли на могилу к афроамериканцу…

ПАВЛЕНСКИЙ: Тааак…

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Сломали надгробие, разворотили, но сделали и обыграли это все театрально, будет это преступлением?

ПАВЛЕНСКИЙ: Вопрос этики и смысла этого действия. Может быть, это пришли друзья этого афроамериканца, потому что, может быть, ритуал их страны требует какого-то особого погребения, как в Тибете, например.

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Кто поджигал покрышки?

ПАВЛЕНСКИЙ: Мы об этом еще будем говорить.

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Мне не интересно, кто стучал молотками или чем там, реально не интересно,

по каким мотивам, по каким основаниям, мне интересно, кто поджигал покрышки и все!

ПАВЛЕНСКИЙ: Сегодня пятьдесят первая. Я еще буду решать с показаниями.

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Сколько по времени?

ПАВЛЕНСКИЙ: Мне нужно определиться.

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Да бросьте вы про искусство, тем более политическое. Давайте не будем хорошее искусство мешать с дерьмом.

ПАВЛЕНСКИЙ: Что вы понимаете под искусством?

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Искусство как часть жизни.

ПАВЛЕНСКИЙ: Искусство — это визуальные коды, вот с чем мы и работаем, собственно.

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Я бы хотел, чтобы вы дали показания.

ПАВЛЕНСКИЙ: Сейчас пятьдесят первая.

СЛЕДОВАТЕЛЬ: А когда вы определитесь? Уже сколько времени прошло. Где, кстати, Пасынкова?

ДИНЗЕ: Петр не договаривает, это вопрос последствия, его будущего, он, собственно говоря, тоже переживает. Нервничает.

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Мы тут все свои как бы.

ДИНЗЕ: И, исходя из этого, он не знает, чем все закончится, и не хотелось бы быть под какой-то раздачей. Посадки, хождение сотрудников полиции к нему домой. Соответственно тотальный контроль его действий и передвижений, все, что с этим связано.

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Но одновременно с этим вы как свидетель озабочены сложившейся следственной ситуацией?

ДИНЗЕ: Он озабочен после обыска соответственно и изъятия его личных вещей и предметов.

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Вы согласитесь, что мы очень корректно поступили?

ПАВЛЕНСКИЙ: По форме. Вы изъяли не весь дом.

СЛЕДОВАТЕЛЬ: А вот вы не открывали нам так долго почему? Вот честно так? Жесткий диск был откручен. Мы пришли не в 6 утра. Дети-то не шокированы? А по вашему делу ваш адвокат говорил обо всех возможных перспективах?

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Этот акт как искусство расценивать можете только вы, все остальные люди расценивают это как акт не-искусства, а как акт вандализма.

ПАВЛЕНСКИЙ: Об этом надо еще спросить этих остальных людей, есть много людей, много мнений.

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Я говорю про юристов. В уголовном деле три направления: либо дело прекращается, либо приостанавливается, либо направляется в суд. (Рисует схему, три стрелки.) Наказание — это не только когда в тюрьму сажают, в тюрьму сажают только вот за убийство, за изнасилование, разбои. В основном назначают наказания, не связанные с лишением свободы или условное наказание. Год лишения свободы на полгода условно. Полгода человек ходит, ничего с ним не случается, никуда он не попадает,

не залетает, все — судимости никакой нет. Но в базах данных уже имеется вот такая галочка, что угу, был косяк.

Сейчас практика так гуманно развивается, что в суде прекращаются дела по нереабилитирующим основаниям. Суд признает, что имеется состав преступления, установлена причастность человека в совершении этого преступления, но уголовно-процессуальный закон позволяет прекратить уголовное дело без всяких судимостей, никаких правовых последствий для привлеченного к уголовной ответственности не возникает. Он может свободно выезжать за рубеж, для его детей никаких ограничений устанавливаться не будет. Был случай недавно: назначили на работу следователя, а проверили хреново, только потом выяснилось, что его отец был осужден за разбой. Его уволили. И это везде так во всех странах. Вот такой вариант наиболее приемлемый для всех сторон уголовного процесса. Это касаемо первого направления.

Второе: Уголовное дело приостанавливается, когда некого привлекать к ответственности. Третье: Прекращение уголовного дела. Расследовать нечего, например.

Первое направление занимает порядка 90% практики. А в следственном комитете почти 98%.

И по этому делу рано или поздно будут установлены лица, совершившие преступление, и дело будет направлено в суд. А там дальше будут доказывать.

ПАВЛЕНСКИЙ: Это понятно. Или прекращено за отсутствием состава и события преступления? Но если будет установлено, что это не является актом вандализма?

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Тогда уголовное дело будет прекращено. Но если бы это не расценивали как акт вандализма, то оно и не возбуждалось бы.

ПАВЛЕНСКИЙ: Относительно акта вандализма и что этим является. То, чем является процесс политического искусства, это работа с разными инструментами, например СМИ, где-то это пропаганда, это влияние на человеческое мышление. Вандализм это или это произведение политического искусства, разговор идет вокруг этого. Там уже все сошлись на мнении, что это произведение искусства. Это контекстуализация, перенос контекста в информационном и символическом поле.

Мост, на котором я был сегодня, он не разрушен, не поврежден. И поэтому эта работа в символическом поле. То как это есть сейчас, это работа в символическом поле.

СЛЕДОВАТЕЛЬ: То есть вы говорите, что в последующем, в будущем, будет такое движение. Люди будут заходить в Эрмитаж, в Зимний дворец, картины будут висеть там, Куинджи например,

и ее брать и ножом так.

ПАВЛЕНСКИЙ: А вот такой уже есть прецедент, был такой акционист Александр Бренер. У него работа была, где он нарисовал зеленой краской на белом квадрате Малевича знак доллара. Бренер делал это из очень большого уважения к Малевичу, это одна из вершин русского искусства.

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Например, я прихожу через 5 лет, куда угодно, где у нас «Троица» есть? Рублева? Беру нож, и режу, и говорю что это искусство.

ПАВЛЕНСКИЙ: Я поясню, вы постоянно приводите пример конкретного физического разрушения, разрубленное, разрезанное, это акт разрушения. Восстановить уже это будет сложно. А я говорю о работе в символическом поле. Белый квадрат, белое в белом.

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Например, я пью очень много воды, иду в Третьяковку, достаю прибор, и как из брандспойта. Это акция?

ПАВЛЕНСКИЙ: Тот же Бренер, он обосрался перед картиной Ван Гога, это реально было. Это акция. Он выразил уважение, он буквализировал понятие обосраться. Но это уже история. Всегда стоит вопрос намерения. Он зачем это сделал?

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Я говорю, что я в восхищении от «Троицы» Рублева, и я хочу, чтобы на этой картине часть меня осталась, я достаю и на картину ссу.

ПАВЛЕНСКИЙ: Тут нужно понимать контекст происходящего. Потому что, если это был бы акт политического искусства, тогда он должен исходить из политического контекста.

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Как, по-вашему, я осквернил или нет? Есть же определенные отношения складывающиеся, они регулируются уголовным законодательством, и у нас система права складывается таким образом, что нет прецедентного права, есть право законодательное. Где расписаны конкретные действия, за которые человек либо несет ответственность, либо не несет. Я бы за такие действия нес ответственность?

ПАВЛЕНСКИЙ: Я думаю, какой-то аппарат власти или определенный орган мог бы наложить ответственность. Но неизвестно, правильно ли поступает этот орган власти, рассматривая этот случай фрагментарно, в отрыве от контекста происходящего.

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Есть последствия, картина обоссана, она не испорчена.

ПАВЛЕНСКИЙ: Ну, а доллар зеленкой на картине Малевича, который был в авангарде и всю жизнь свою он боролся с любой коммерциализацией искусства и с теми, кто расписывал харчевни в то время. А что показал Бренер, что Малевич, против чего он

боролся, да, он сам превратился в это, его система пожрала просто и превратила его в товар просто. Мы не живем в мире, плоскости Уголовного кодекса. Он просто является частью этого мира, так же как он является частью этого контекста.

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Но вы поймите, я и думаю, вы это понимаете, что некоторые вещи запрещены законом, не важно там, искусство это или не искусство. Нельзя подойти и обоссать картину Рублева, просто нельзя, понимаете. Нельзя разгрузить покрышки на Малом Конюшенном мосту, где приходят очень много тысяч людей сфотографироваться и замок повесить, нельзя разбросать покрышки и поджечь их. Преследуя или не преследуя какие-то свои цели. Это делать нельзя.

ПАВЛЕНСКИЙ: А я вот могу так сказать. Вот можно сказать — нельзя бить ребенка. А если ребенок хочет из окна выпрыгнуть или палец в розетку запихнуть? Вот такой банальный пример: ударить его в тот момент, когда он пихает пальцы в розетку, где его просто пришибет, убьет. И ты его бьешь по руке, ты делаешь то, что нельзя, но контекст происходящего подразумевает, что это необходимо сделать. Вот разница между тем, что нельзя. Или тупо: он пихает пальцы — нельзя бить ребенка, он пихает пальцы. Его убивает током, он лежит весь обугленный. Отлично. Нельзя так мыслить, я вот об этом. О контексте.

СЛЕДОВАТЕЛЬ: В Уголовном кодексе есть глава, обстоятельства исключающие преступность деяния, необходимая оборона, причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление, физическое или психическое принуждение, обоснованный риск, исполнение приказа или распоряжения. Любое такое действие, его можно подвести под 8-ю главу Уголовного кодекса.

Я ребенка ударил, я ребенку сломал ногу, лишь бы он не бежал под поезд. Потому что он бежал под поезд, я видел, что он бежит под поезд, что его сейчас поезд собьет, я выстрелил ему в ногу, конечно, больно, но я предотвратил наступление его смерти.

А вот покрышки на мосту что предотвращают?

ПАВЛЕНСКИЙ: Намерение сделать жест, который может повлиять на предотвращение холодной войны между обществами. В данном случае российского и украинского. Не нужна обществам холодная война, общества не должны воевать, ненавидеть друг друга. И если нет в Уголовном кодексе про это, то он не совершенен, он же тоже не является статичным, он тоже должен расшириться.

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Там главное, вы о последствиях каких волнуетесь? Лично вы?

ПАВЛЕНСКИЙ: Не привлекаться к уголовной ответственности, чтобы все поняли, что это искусство, а не вандализм, должно такое быть в Уголовном кодексе касаемо контекста происходящих событий.

ДИНЗЕ: Один нажрался, пришел, просто кинул шину и поджег, чтобы повеселиться. А другой пришел и то же самое сделал в рамках художественного замысла. Под определенный контекст. Соответственно, умысла на осквернение моста, здания, сооружения у него не было. Нет умысла вандализма, который совершается только с прямым умыслом.

ПАВЛЕНСКИЙ: Мост цел, копоти нет.

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Если мост был не цел, была бы 167-я статья, был бы терроризм, потому что уничтожили транспортную артерию, придумали бы что-нибудь.

ПАВЛЕНСКИЙ: Я посмотрел примеры вандализма. В Интернете, когда искал, что это за статья, там задавали вопрос об одном случае. Спрашивалось, может ли это являться вандализмом или нет? Трое двенадцатилетних подростков залезли на территорию детского сада, изрубили деревянные скульптуры, поломали все деревья и сожгли детский теремок. Вопрос состоял в том, что делать с несовершеннолетними?

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Если бы это были взрослые люди, тогда это было хулиганство, а сопряженная статья — вандализм.

ПАВЛЕНСКИЙ: Вот разница есть?

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Вот акция была, где-то там какой-то мост поднимали, створку одного моста перед зданием ФСБ, а там такая елда нарисована огромная.

ДИНЗЕ: Так там административка. Никакого уголовного преследования не было. Я их вел.

ПАВЛЕНСКИЙ: Вот вы приводите как пример вандализма, а вы знаете, что они получили премию Инновация, государственную премию за акцию «Хуй» на литейном. Почему?

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Это какой мост Литейный? А он не является объектом исторического наследия.

ДИНЗЕ: Там были проведены все те же мероприятия, что и на Мало-Конюшенном мосту, задержали Леню Ебнутого, там административка была, мелкое хулиганство. Там было об суждение ночное, сидели генералы все, это я потом уже узнал.

ДИНЗЕ: Этой акцией они хотели показать, что у Петербурга не было своего хуя, который они и показали.

А пизду еще пока никто не нарисовал.

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Вы должны понимать, что вандализм связан с конкретными обстоятельства ми, Мало-Конюшенный мост, сооружение. Он охраняется ЮНЕСКО, это все осквернено

специально.

Сделано это было с прямым умыслом. Поджечь.

Если бы кто-то сказал, что это нечаянно было. Вот ехала машина, из нее посыпались покрышки в ряд, а там кто-то шел, хабарик бросил, и они нечаянно загорелись. Не было такого. Мотив — это один из элементов совершении преступления.

ПАВЛЕНСКИЙ: Чтобы говорить об этом инциденте, нужно рассматривать контекст, ситуацию, это не исторический мост. Это место, где было совершено покушение народовольцами на императора Александра II. Который как раз подавлял…

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Вы что несете?

ПАВЛЕНСКИЙ: Я не несу… Тут есть исторический контекст. Современный.

Что такое вандализм? Это подростки и детский садик.

Почему человек это сделал? Вот этот вопрос — почему, он как раз и делает прецедент искусства.

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Я не знаю, осудили бы его здесь или не осудили… Этого человека с картиной Малевича. Малевич — это, конечно, не та картина, о которой я вам говорил.

ПАВЛЕНСКИЙ: Нет, не согласен. Малевич для истории искусства ничуть не менее значимая фигура, чем Андрей Рублев. Просто Рублев — это древнерусская живопись.

ЯСМАН: Я понимаю вас. Но…

Я вам отвечаю, что я был бы незамедлительно арестован, если бы такую акцию совершил. Прямо сразу же в отношении него, и вот адвокат ваш скажет, сразу же был бы арестован и уничтожен. В смысле уничтожен государственными мерами, арестован, сразу бы посадили в самую вонючую камеру, потому что осквернено не то что чувство верующих или неверующих, а просто осквернено, просто такая пощечина просто людям, потому что это искусство, искусству сделали пощечину, искусство создавалось людьми, народом.

ДИНЗЕ: Я немножко, честно говоря, даже прослушал.

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Нельзя поджигать, нельзя.

ДИНЗЕ: Я так давно с художниками общаюсь, что я уже тоже…

ПАВЛЕНСКИЙ: Значит, нельзя бить по руке ребенка, нельзя ему даже ногу сломать…

ДИНЗЕ: А мы можем как-то разрешить ситуацию, чтобы все было как-то хорошо?

ПАВЛЕНСКИЙ: Сегодня мы поговорили, я на деюсь, мы друг друга поняли хотя бы о чем мы говорим. Я буду принимать решение, я буду дальше для себя выстраивать. Я на связи. Я ни куда не деваюсь, я здесь.

ДИНЗЕ: Может, вы к консенсусу придете, в рамках этого дела?

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Мы же с вами договаривались, что с нашей стороны не будет никаких лозунгов.

ДИНЗЕ: Я передал слова Петру, и, как вы видите, он имеет свою глобальную картину.

СЛЕДОВАТЕЛЬ: В то же время он озабочен сложившейся ситуацией.

ПАВЛЕНСКИЙ: Нужно обдумать вот этот вопрос контекста.

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Я смотрю, слово «контекст» у вас самое любимое, вы его раз 600 повторили.

ДИНЗЕ: Есть действия, из которых следователь усматривает умысел. А есть человек или группа лиц, которым принадлежит определенный умысел. И опять же от этого слова, теперь уже я его употреблю, контекста, можно определить умысел. Но в то же самое время человек может говорить о каком-то умысле, но он не будет прямой, а будет художественный, если можно так сказать.

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Очень будем признательны, если мы кого-то установим, да. Будем писать постановление о привлечении в качестве обвиняемого. Действия не с прямым, а с косвенным умыслом.

ДИНЗЕ: Можно прекратить.

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Можно. Можно в суд направить. Можно в суде прекратить.

ДИНЗЕ: Можно прекратить за отсутствием состава.

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Да, как пойдет.

И вы как человек, знающий судебную практику, знаете, что если нас поддержали в каких-то ходатайствах ограничивающих конституционные права граждан, то, значит, с нами согласились.

ДИНЗЕ: Фактически да. «Засилили», я такое слово бы употребил. Не то что согласились, а засилили.

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Засилили да. Вы с этим согласны как юрист?

ДИНЗЕ: Как юрист, да. Засиливают определенные решения, своими действиями.

СЛЕДОВАТЕЛЬ: И уже как в практике, я не знаю, как в практике Санкт-Петербурга, я приехал из другого региона, я понимаю, что никто против уже не попрет. Это исключение. Петр Андреевич вот сейчас это все слушает и потом все это расскажет журналистам. Не надо это все рассказывать, мы тут в своем котле варимся. Поэтому надо из этой ситуации выходить так, чтобы победителями были все стороны. Это мое такое внутреннее убеждение.

ДИНЗЕ: Я-то согласен. А вот как Петр ко всему этому отнесется, я не знаю.

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Петр Андреевич может в этой ситуации вообще победить! Если пораскинуть мозгами.

ПАВЛЕНСКИЙ: Нам нужно рассматривай, плоскость искусства. Потому что есть история искусства, это важно.

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Если мы это будем рассматривать как плоскость искусства и кто-нибудь, не дай бог, посоветует мне, походатайствует назначить искусствоведческую экспертизу… Я боюсь, как бы там дело до 282-й статьи нс дошло. Не дай бог. Потому что я уже слышал это от некоторых сотрудников.

ПАВЛЕНСКИЙ: Я вижу ситуацию, как я могу, видя ситуацию и понимая ее как объемную ситуацию. Ее нельзя просто вывести в плоскость.

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Это я понял. А че, Александрова в дурке лежала?

ПАВЛЕНСКИЙ: Не знаю, первый раз об этом слышу.

ДИНЗЕ: Слушайте, а вот все остальные задержанные, вы как видите, поджог — это законченный состав вандализма, правильно я понимаю, в данном контексте?

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Да.

ДИНЗЕ: То есть кто-то там бегал с барабаном, с палками…

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Вообще никаких претензий нет.

Вот кто зажег спичку, поднес, вот те будут нести ответственность.

Кто стучал, бегал с флагом, пускай.

Следствие-2

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Петр Андреевич!

ПАВЛЕНСКИЙ: Я хотел узнать про ходатайство, постановление. Что вы думаете?

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Да, Петр Андреевич… А вы что думаете?

ПАВЛЕНСКИЙ: Я поразмыслил, и вообще я заинтересован в установлении истинности события. Потому что мы говорили о Малевиче в прошлый раз. Так вот он говорил: «В искусстве важна истина, но не искренность».

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Петр Андреевич, дорогой, мне с вами очень приятно разговаривать, я вам честно говорю. Но мы сегодня надолго или нет?

ПАВЛЕНСКИЙ: Я хочу, чтобы мы нашли какие-то точки, чтобы я понял, как мыслит и та, и другая сторона, потому что уместить что-то из символического поля в уголовно-процессуальный кодекс, это такая задача сложная.

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Как вы сказали? Я ни хрена не понял. Ровно

так же, когда и изучал ваше ходатайство заявленное.

ПАВЛЕНСКИЙ: Я его долго писал.

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Давайте только по-русски. По-русски. Есть поле символическое. Символы, знаки. Искусство работает как раз в символическом поле, означающее и означаемое. И акт искусства он происходит в символическом поле в большей части. И в определенной части, конечно, в реальности.

И собственно ходатайство и было направлен но на то, что если мы заинтересованы в установлении истинности события, а как говорил Малевич, истина важна, но не искренность. И для нас истина должна быть прежде в искренности. То есть мы должны начать смотреть на акцию, на акт искусства с разных сторон, тогда мы придем к какой-то истине.

К тому, чем это было, актом осквернении и уничижения общественной нравственности или это было действие направленное, наоборот, на укрепление общественных отношений? Это действие было направлено в интересах общества и обществ или против?

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Теперь попрошу вашего защитника сказать мне, что хочет Петр Андреевич объяснить своими словами в юридической терминологии, чтоб я понял.

ДИНЗЕ: Все намного прозаичнее, что-то сгорело, кто-то в этом принял участие, и огонь не может являться тем самым символом, которым осквернил бы это место и общую картину па мятника архитектуры, если он таким является. В силу того, что между символизмом, которым присутствовал в этой акции, он соответствовал тому огню, который был. И тем действиям, которые произошли. И они не являются преступлением.

ПАВЛЕНСКИЙ: Я еще поясню, почему я затрагиваю символическое поле. Вы имели его в виду, когда мы в прошлом разговоре упоминали нечистоты, испражнения, а с точки зрения культурных понятий эти акты были бы направлены на уничижение, но огонь не является уничижительным — это стихия, вот, например, были Олимпийские игры недавно. Вот была бы разница, если бы вместо факела с олимпийским огнем несли бы прибор, в котором нечистоты были бы?

Есть разница или нет?

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Знаете что мне там, в указаниях написали?

ПАВЛЕНСКИЙ: Нет, не знаю. Я же их не читал.

ДИНЗЕ: Я думаю о проведении психиатрической экспертизы?

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Да, да, да (смеется).

ПАВЛЕНСКИЙ: Кого?

ДИНЗЕ: Психиатрии.

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Я вас прошу, пройдите. Пожалуйста.

ПАВЛЕНСКИЙ: У меня было уже несколько.

ДИНЗЕ: Так, а в том деле московском есть.

СЛЕДОВАТЕЛЬ: А при чем тут московское?

ДИНЗЕ: Так, а у него и справка есть и проходил он там, он проходил неоднократно.

ПАВЛЕНСКИЙ: Здоровый человек.

ДИНЗЕ: Да. Он уже проходил неоднократно. Я думаю, может, вам запрос туда вам сделать и получить оттуда.

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Нет, нет, нет! Ну, там, на 5 минут вместе съездим…

ПАВЛЕНСКИЙ: А это с какой стороны?

ДИНЗЕ: Дурка пришла, но только с согласия…

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Да это быстро. Как от одною до десяти сосчитать. Яблоко от яблони недалеко падает.

ПАВЛЕНСКИЙ: Это я понимаю — у меня уже несколько освидетельствований было. Я не понимаю просто, зачем вам каждый раз напарываться на одни и те же грабли. Зачем человека без патологий и отклонений от установленной нормы пробовать опять же втиснуть в эти отклонения? Или заподозрить в этих отклонениях от условно-установленной нормы?

Это, кстати, очень серьезно. Это как раз то, что сейчас с уголовно-процессуальным кодексом происходит.

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Где Пасынкова? **ПАВЛЕНСКИЙ:** Я не знаю.

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Я серьезно!

ПАВЛЕНСКИЙ: Она тогда была в недоумении большом, и она со мной прекратила общение.

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Да хватит!

ПАВЛЕНСКИЙ: Серьезно!

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Да ладно, рассказывайте!

ПАВЛЕНСКИЙ: Серьезно! Не видел я ее!

ДИНЗЕ: Может, вам справки достаточно?

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Да справки… Я сам это все понимаю… Но ведь указание!

ПАВЛЕНСКИЙ: Указание… Понятно, указание надо выполнять…

Так, а какое, скажем так, мнение стороны обвинения, относительно…

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Расследовать все обстоятельства, подлежащие в соответствии со статьей 73 УПК РФ, доказыванию по уголовному делу.

ПАВЛЕНСКИЙ: Вы со мной, по крайней мере, согласны, что мы заинтересованы в установлении истины события?

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Конечно!

ПАВЛЕНСКИЙ: Хорошо! Но если мы рассматриваем истину

события, то мы должны рассмотреть контекст.

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Состав данного преступления формален.

ПАВЛЕНСКИЙ: Я поясню, здесь присутствует слово «осквернить», осквернение — это уничижение чего-либо. Огонь и песня освобождения — она не является осквернением.

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Что вы мне рассказываете, вы свидетель, а вы сидите и подтверждаете в присутствии следователя что…

ПАВЛЕНСКИЙ: Мы обсуждаем акцию «Свобода».

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Мы обсуждаем не акцию, мы расследуем не акцию, мы расследуем поджог покрышек.

ПАВЛЕНСКИЙ: Но мы же не говорим о поджоге, о поджигании, мы говорим об акции «Свобода» и о том, в каком она поле была осуществлена в уголовно-процессуальном или символическом.

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Вот смотрите, акция вся, это вот кружок такой, это вся акция, а покрышки — это маленькая часть.

Все, и расследуется только эта маленькая часть. Никто никого не преследует за какую-то там акцию, преследование осуществляется в отношении неустановленной группы лиц за поджог покрышек.

ПАВЛЕНСКИЙ: За огонь?

СЛЕДОВАТЕЛЬ: За поджог покрышек!

ПАВЛЕНСКИЙ: Поджог покрышек — это то — следствием чего стал огонь, огонь это символ определенный, в данном случае символ освобождения. И огонь нельзя сравнивать с нечистотами, если бы на этом мосту проезжала машина… Ассенизаторская.

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Говновозка…

ПАВЛЕНСКИЙ: Говновозка. Проезжала бы, и из нее залили бы весь мост дерьмом, тонной, и еще при этом перегородили пешеходам дорогу, то тогда, наверное, можно было рассматривать это как осквернение.

Тогда можно проводить параллели между олимпийским факелом, который является устройством для того, чтобы нести огонь — был бы знак равно с этой машиной для перевозки дерьма. Она бы ездила по городам и приехала бы в Сочи. Не факел бы несли… А машина бы ехала, и из нее бы лилось… Есть разница?

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Ну, ритуал определенный.

ПАВЛЕНСКИЙ: Почему я сослался на Малевича, потому что я выступаю со стороны искусства, мы не можем обойти это. А Малевич что говорил? Что только тупые и бессильные художники прикрывают свое искусство искренностью. Искренность — это такой пришел Вася и сказал да, там че-то поджог не поджог— Чего-то хотел там… Да, чего-то наговорил.

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Я вас перебью, мысль вашу я понял, она простая до гениальности, но вы мыслите очень широко. Я мыслю чуть-чуть поуже, понимаете. Как обыватель.

ПАВЛЕНСКИЙ: Да ничего подобного! Тогда просто мы перечеркиваем всю историю искусства и вообще весь багаж, как будто его и нет.

СЛЕДОВАТЕЛЬ: При чем тут искусство? Преступление надо расследовать. Преступление! Вы понимаете?

ПАВЛЕНСКИЙ: В том то и дело, что нельзя любое действие запихнуть в рамки слова «преступление». Нельзя просто.

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Никто не расследует акцию «Свобода», рассматривается как преступление поджог покрышек. Который был составной частью акции «Свобода».

ПАВЛЕНСКИЙ: Таким образом, это сразу ставит знаменатель под акцией «Свобода», что это тоже могло бы быть преступлением.

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Если бы во время этой акции произошло бы еще какое-нибудь преступление, то оно соответственно квалифицировалось по соответствующей статье особенной части Уголовного кодекса.

Классно сказал, а?

ДИНЗЕ: А какое еще могло бы быть преступление?

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Ну, вдруг еще какое-то преступление неустановленные лица совершили, взрыв! Или огонь бы перекинулся на жилые дома.

ПАВЛЕНСКИЙ: Но тем не менее если мы говорим об историческом контексте, то мы понимаем, что сам факт, плохих отношений между обществами…

СЛЕДОВАТЕЛЬ: (перебивает). Петр Андреевич, я вам говорю. Вы не мыслите так глобально, не мыслите глобально… Такими материями.

ПАВЛЕНСКИЙ: Я смотрю в целом.

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Вы поуже, поуже.

ПАВЛЕНСКИЙ: Я могу сузить, тогда получается ситуация, что уголовно-процессуальный кодекс — он сам становится частью экспликации акции «Свобода». Потому что в каком-то роде моя свобода становится под угрозой, а ту г есть определенный парадокс. За акцию «Свобода» — свобода оказывается под угрозой. Лейтмотив уголовно-процессуального кодекса угрозы свободе уже содержался. И сейчас происходит такой момент, что мы должны установить истину. Я этого и хочу.

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Мы-то истину уже установили. Что неустановленное лицо подожгло покрышки, с группой лиц. Эту истину мы уже установили. Нам теперь надо установить лицо,

подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, и направить дело в суд.

ПАВЛЕНСКИЙ: У меня тогда такой вопрос. Но ведь ваша «истина» может быть ложной?

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Может быть. Поэтому мы расследуем все обстоятельства.

ПАВЛЕНСКИЙ: А с точки зрения анализа, который я провел, получается, что сам факт того, что действие признано преступным, это ложное утверждение.

СЛЕДОВАТЕЛЬ: У вас есть специальные познания в области юриспруденции?

ПАВЛЕНСКИЙ: У меня нет. Но я пригласил адвокатов, у которых есть специальные познания.

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Ништяк.

ПАВЛЕНСКИЙ: И они могут что-то прокомментировать. С моей точки зрения, истина состоит в том, что само действие, сам акт он не являлся преступным.

ДИНЗЕ: Ты немного путаешь, есть сторона защиты, а вот следователь со стороны обвинения. Сторона обвинения в соответствии со статьей 5 пришла к выводу, что преступление совершено. Покрышки поджигать нельзя на мосту. Так просто, незамысловато, не вдаваясь ни в какие художественные и искусствоведческие авантюры. Если брать твою акцию.

ПАВЛЕНСКИЙ: Хорошо. Но в данном случае речь не об авантюре. Потому что если мы вернемся к Малевичу, например, то Малевич два раза сидел.

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Малевича мы, к сожалению, не можем опросить как свидетеля.

ПАВЛЕНСКИЙ: Не можете, да. Но его в свое время допрашивали в 27-м и в 30-м году. И не можем ли мы, сейчас смотря оттуда, что, возможно, у НКВД или у тех, кто допрашивал Малевича, его содержал в тюрьме… Причем его несколько раз закрывали. Что, возможно, это было заблуждение?

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Вы туда хотите, что ли? Вы хотите, чтобы вас закрыли?

ПАВЛЕНСКИЙ: Я хочу другого. Я хочу, чтобы не доходило до этого, чтобы потом через какое то количество лет опять какое-то поколение не вернулось к тому же. Мы идем по какому-то кругу.

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Петр Андреевич, вы себя с Малевичем не сравнивайте.

ПАВЛЕНСКИЙ: Никоим разом. Это время покажет и объем сделанной работы. Малевич, кстати, очень много работал.

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Вы, кстати, покажите какие-нибудь картины?

ПАВЛЕНСКИЙ: Подождите. Я, как художник, работаю в

достаточно узкой специализации.

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Какой?

ПАВЛЕНСКИЙ: Акционизм.

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Тогда я тоже художник!

ПАВЛЕНСКИЙ: Только вам надо осуществить акцию.

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Я уже сегодня пару акций осуществил.

ПАВЛЕНСКИЙ: Тогда вам нужно это еще отрефлексировать.

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Отрефлексировал.

ПАВЛЕНСКИЙ: Тогда вы можете себя заявить как художник. И…

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Я художник!

ПАВЛЕНСКИЙ: Отлично!

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Художник-следователь следственного отдела по центральному району. Художник юстиции.

ПАВЛЕНСКИЙ: Хорошо, а вы можете еще подписываться… Художник.

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Не знаю, я подумаю, просто я себя еще не считал художником, теперь буду считать художником, может, и подпишусь где-нибудь.

ПАВЛЕНСКИЙ: И вы можете быть художником, вы должны мыслить в категориях и каждое свое действие сопоставлять с историей искусства.

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Я бы сопоставлял только не немножко, я вот сделал пару своих действий, и результат моего искусства лежит теперь на третьем этаже в прокуратуре. Они скажут, искусство это или не искусство. Посмотрим. Если произведение искусства в суд пойдет, если нет… Вон еще один художник сидит. (Показывает на другого следователя в помещении.)

ПАВЛЕНСКИЙ: Только есть один момент, если вы будете действовать как художник и эти материалы они не просто уйдут в суд… Тогда вся эта работа просто накрывается бюрократической системой. Она должна иметь какую-то ценность для символического поля.

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Я вам скажу более широкий контекст моего искусства одна палка в отчете формы 1ДМ.

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Я результатом своей деятельности как художника добился социальной справедливости, во-вторых я внес неоценимый вклад в формирование статистической отчетности.

ПАВЛЕНСКИЙ: Может, вы тогда выступили скорее как статист?

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Я же сказал, я художник юстиции.

ПАВЛЕНСКИЙ: Хорошо. Тогда вам нужно обозначить это как форму искусства.

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Я ее обозначил, сшил, пронумеровал.

ПАВЛЕНСКИЙ: Обозначить — это убедить весь мир.

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Я убеждаю весь мир в лице от дельно взятого человека на третьем этаже -прокурора.

ПАВЛЕНСКИЙ: Одного мнения недостаточно

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Судью еще потом будут убеждать.

ПАВЛЕНСКИЙ: Вы должны внести вклад в культуру, это должно быть как форма взаимодействия.

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Когда судом будет принято определенное решение, установлен приговор, ну там дело на прекращение, это будет все результат моего искусства.

ПАВЛЕНСКИЙ: Тогда такой вопрос, а в чем нм преодолели себя в этом? Искусство — это когда преодоление условных опять же границ. И какие условные границы?

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Я преодолел себя в том, что я не высыпался, вставал пораньше, уголовное дело закончил за трое суток. Преодолел? Преодолел!

ПАВЛЕНСКИЙ: В этом вы показали, что вы работоспособный человек.

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Я преодолел себя!

ПАВЛЕНСКИЙ: Вы преодолели лень.

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Я поставил перед собой задачу: 3 дня!

ПАВЛЕНСКИЙ: Это преодоление лени. Суть в преодолении границ, а вот если бы вы, например, делали бы эту работу, сделали, чего не делали бы другие люди. Если бы обозначили себя художником, вы должны были бы выйти за пределы, за границы.

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Я планирую… Рассказать, какую я акцию планирую?

ПАВЛЕНСКИЙ: Да!

СЛЕДОВАТЕЛЬ: В ходе следствия, есть такое действие опознание. Когда опознающее лицо опознает лицо, как-то связанное с преступлением. Поставить опознающее лицо негра, лицо кавказской национальности. И сказать: «Опознавай!» А понятых позвать тех, которые на Дворцовой площади стоят, цари. Искусство?

ДИНЗЕ: Форма искусства.

ПАВЛЕНСКИЙ: А дальше вы должны заявить об этом. Это скорее перформанс.

ДИНЗЕ: За этой акцией могут последовать гонения.

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Я после этого могу стать политическим.

ДИНЗЕ: В рамках одного следственного отдела. Формальное нарушение…

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Формальное, да… Стеб тонкий…

ДИНЗЕ: Тонкий — это другое… Мне коллега рассказывал

историю про следствие. Опера побежали за понятыми, там два мужика прогуливались… Это были подставные понятые со стороны злодеев.

Согласились, пошли. А когда в суд вызвали— Ни хера, ничего такого не было, не помним.

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Ништяк.

ДИНЗЕ: Ну что у нас там, в ближайшее время.

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Я же говорю — психушка.

ПАВЛЕНСКИЙ: Такое прямо указание? Да?

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Это я сам расследую дело! Я думаю, для установления всех обстоятельств, надо пройти обследование в психушке. Просто! Там на вопросы надо будет отвечать, да вы же знаете уже!

Надо, чтобы она была хорошая. Чтобы вы, если что, в дурке потом не лежали.

ПАВЛЕНСКИЙ: У меня уже было столько освидетельствований, что меня практически сами психиатры убедили, что я нахожусь в рамках установленной нормы.

ДИНЗЕ: Сколько сейчас в производстве-то?

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Четыре, что ли, осталось…

ДИНЗЕ: Быстро-быстро… Палки-палки…

ПАВЛЕНСКИЙ: Как комбинат?

ДИНЗЕ: Да… Здесь не до искусства им.

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Здесь искусство поставлено на поток!

ПАВЛЕНСКИЙ: Поток по производству преступников…

Как я уже говорил… У меня цель одна — вырваться из этого круга по производству преступников. А у вас же не может быть цель просто производить преступников?

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Это вам ваш адвокат расскажет.

ПАВЛЕНСКИЙ: Вы обратите внимание, адвокат вышел из системы!

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Красавец!

ПАВЛЕНСКИЙ: В какой-то момент он обратил внимание.

ДИНЗЕ: Когда я вышел из системы, я понял одно, что я видел все достаточно рамочно, узко, а когда вышел из системы, я увидел все намного шире и с разных сторон. С учетом текучки не видишь дальше того, что у тебя есть.

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Может быть, и хочешь видеть. Но нет возможности.

ПАВЛЕНСКИЙ: Я вам стараюсь дать такую возможность, я вам объясняю, рассказываю, привожу примеры, доводы, цитаты. В каких-то вещах мы даже соглашаемся. В том, что мы хотим установить истину.

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Давайте согласимся, в глобальной… И

остаемся друзьями! Будем встречаться, чай пить.

ПАВЛЕНСКИЙ: В какой вещи вы хотите, что бы мы согласились? Вы хотите искренности вперед истины, но ее не будет. Тогда я сразу окажусь в категории тупых, бессильных художников. Потому что я к Малевичу отношусь очень серьезно.

СЛЕДОВАТЕЛЬ: А кто вам сказал, что вы тупой и бессмысленный?

ПАВЛЕНСКИЙ: И бессильный художник?

СЛЕДОВАТЕЛЬ: У нас с вами никаких процессуальных действий не происходит. Мы только размышляем, беседуем.

ДИНЗЕ: Петр поставил целью вас убедить. Вторая беседа связана с убеждением и расширением, грубо говоря…

ПАВЛЕНСКИЙ: Убеждение приводит нас к установлению истины. Я не могу пойти против себя и начать играть или быть какой-то искренностью, я не могу подменить этим истину.

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Я понимаю, Петр Андреевич, я во многом с вами согласен. Просто я вам поясняю, что расследуется один лишь факт поджога покрышек. Понимаете? Я так думаю, что если бы данный факт поджога покрышек был бы где-нибудь не на мосту, даже на Невском проспекте, на дорожном полотне, в поле, никто бы слова не сказал. А покуда Мало-Конюшенный мост имеет историческое значение, социальное, культурное значение и на нем кто-то поджег покрышки. То тут надо порасследовать.

ПАВЛЕНСКИЙ: Но тут нельзя не учитывать, что акция «Свобода» была осуществлена в интересах общества, она обогатила культурный багаж. Если говорить такими словами. Нельзя рассматривать факт возгорания покрышек в отрыве от культуры.

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Несомненно. Данный состав является формальным.

ДИНЗЕ: Только начал — тут же и закончил.

ПАВЛЕНСКИЙ: Тогда я попробую с юридической точки зрения, о вандализме. Как о некоем осквернении, что такое осквернение — это уничижение чего-либо. Обоссать, обосрать, разломать, тут можно рассматривать с точки зрения осквернения, потому что с точки зрения накопленного опыта какие-то устоявшиеся символы являются символами уничижения, но огонь не является символом уничижения.

ДИНЗЕ: Ни сторона обвинения, ни сторона защиты не могут прийти к компромиссу, он это видит с художественной точки зрения, поэтому он с вами так разговаривает. Я же, если будем подходить шире к этой проблеме осквернения, например, что у нас там входит в это осквернение, странное такое понятие, честно говоря. Вот лично для меня. Это нравственные ценности,

духовные ценности и плюс еще отношение других людей к этому. Но в связи с тем, что людей там практически не было, это было утро, как это задело духовные ценности или как это задело нравственные ценности. Здесь они должны присутствовать на конкретном мосту, должны проявляться в каком-то виде на этом мосту для того, чтобы он мог прийти и нарушить все эти духовные и нравственные ценности либо другие ценности.

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Ну, я понял. Давайте, не стесняйтесь показания давать.

ПАВЛЕНСКИЙ: Дача показаний — это подразумеваете я искренность. Правильно?

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Да. Ну, так все и говорите…

ПАВЛЕНСКИЙ: Я понял, я свою позицию изложу на этот счет.

ДИНЗЕ: У нас будет ходатайство об искусственно-дорожных покрытиях. Я, например, не верю в то, что там была произведена такая уборка. У нас есть видеозапись, по горячим следам была сделана. Там просто два дворника подметали это место, а потом полили водой из шланга и на этом уборка закончилась. То, что вам предоставили, это туфта. Доказывается она элементарно. Я ходатайство напишу, там экспертизу надо проводить.

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Так сейчас там же уже нет ничего.

ДИНЗЕ: Нет, это все сохраняется долго. Как кровь, которая может долго в продуваемых помещениях сохраняться в течение двух лет. Общался со специалистом. И химические вещества, они тоже долго сохраняются в почве, и если мы говорим о брусчатке, даже если мы говорим об исторической ценности этого моста, то подожгли шины, опачкалось, есть такое понятие. Надо взять камень с этого моста, посмотреть, брусчатке причинен ущерб какой-либо или не причинен. Термические свойства камня, они выдерживают очень большую температуру.

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Вы заявляйте ходатайство. Заявляйте.

ДИНЗЕ: Я вам просто мысли накидаю. Я буду просто доказухой оперировать, мне вот эти вещи, связанные с искусством, не настолько близки, как Петру, но он хочет вас другим способом убедить.

Он хочет вас убедить на уровне мышления, не бумажки и заключения.

Может быть, вы донесете его позицию руководителю. Он же только с бумагами общается. Может быть, мы закончим красиво. Мы вам свою позицию излагаем, а вы, может быть, проваландаете дело, и приостановите его за отсутствием лиц. Насколько мы определились, никто не собирается ничего признавать. Там портретную надо экспертизу делать. Экспертиза, соответственно, это видеотехнически, не был ли там плюс то, что у вас с акции

есть с YouTube, но это не доказательство. Мы материал подняли по обыску. Поэтому мы фактурой располагаем. И, исходя из этого может как-то выйти из этой ситуации, может, дело умрет. Потому что мы начнем общение на таком уровне, он, может, даже готовит вас к этому уровню общения, потому что именно такие уровни и будут проистекать, ценности духовные, огонь. Это если ты обосрался там на мосту, здесь сложно доказать, что ты срал, потому что тебя подперло, например… Ну и то это такое оправдание. А почему не рядом с мостом, на набережной или в парадняк не зашел? Просто Петр считает, и, честно говоря, я немножко склоняюсь в эту точку зрения, что от контекста отрывать чисто поливку шин, во-первых надо понимать, для чего они там появились, зачем они там появились, с чем они были связаны, потому что от контекста не оторвать. Если бы был умысел причинить вред историческому памятнику, тогда бы у нас и статья была бы другая, 243-я вроде. Причинение вреда памятникам архитектуры, там есть отдельная статья за это.

Но если говорить по этому мосту, я посмотрел историю, в 2001 там меняли брусчатку, раньше он деревянный был. Вот если бы он на дереве это начал поджигать, деревяшка старая, еще тех времен. Ну а брусчатка современная.

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Я говорю, уголовное дело расследуется, устанавливаются все обстоятельства.

ПАВЛЕНСКИЙ: Я не заинтересован работать на комбинат по производству преступников, в частности, производству себя как преступника. Моя цель установить истину, что это была В каких категориях можно рассматривать это действие. У меня очень простые задачи. И при этом я отдаю себе отчет, я знаю, как машина поведет себя по отношению ко мне.

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Надо беседовать предметно, когда уже будет полная фактура на руках.

ДИНЗЕ: Когда мы можем вернуться к разговору? Нужно уже как-то определиться в этих вопросах

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Когда будут все документы.

ДИНЗЕ: Я еще не знаю, пойдет ли он на психушку или нет.

ПАВЛЕНСКИЙ: Мне надо решить этот вопрос. С одной стороны, бояться нечего, у меня уже было три освидетельствования и одна экспертиза.

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Вы поймите тот факт, что вполне вероятно, ее рано или поздно придется проходить. Высока возможность ее проходить. Уже в принудительном порядке.

ПАВЛЕНСКИЙ: Я понял. Я обдумаю это,

ДИНЗЕ: Мы можем принести копии другой экспертизы. Справки мы соберем вам. Сделайте, может, только на ЖЭК и на

участкового.

ПАВЛЕНСКИЙ: На мой взгляд, я говорю очевидные вещи, и в следствии работают люди, исполняют какую-то функцию.

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Если б было бы все очевидным и все таким уж прямо простым, дело давно в суде уже б было.

ПАВЛЕНСКИЙ: У меня здесь, безусловно, есть интерес, чтобы сторона искусства победила.

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Вот вы приходите и говорите, говорите, но ничего не написано…

ПАВЛЕНСКИЙ: Я же с вами разговариваю.

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Я понимаю. Вы со мной разговариваете как с человеком, а не как со следователем.

ПАВЛЕНСКИЙ: Как с человеком, представляющим определенный аппарат.

ДИНЗЕ: Давайте на этом и закончим. И вернемся к вопросу в официальной беседе.

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Надо же все равно какие-то рано или поздно давать показания. А вот так ходить беседовать. Вы человек интересный. Но в рамках следствия…

ПАВЛЕНСКИЙ: А для вас есть смысл то какой-то в разговорах?

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Есть, конечно. В рамках дела будет вот так вот.

ПАВЛЕНСКИЙ: По большому счету как я с вами говорю, я так и буду говорить.

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Это Ваши абсолютно права.

ДИНЗЕ: Он себе статус обозначил, он себя художником называет.

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Ну, нет процессуального статуса «художник».

ПАВЛЕНСКИЙ: Мы опять возвращаемся к каким-то мировоззренческим концептам.

Есть рамки, но меня нельзя впихнуть в рамки.

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Тут расследуется не акция. Тут расследуется факт поджога покрышек На Мало-Конюшенном мосту. Факт умышленного поджога покрышек на Малом Конюшенном мосту.

ПАВЛЕНСКИЙ: Не имеющего отношения к акции?

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Никакого.

ПАВЛЕНСКИЙ: То есть это отдельное получается действие.

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Это действие внутри какого-то другого совершенного действия. Но это действие никто не будет рассматривать, куда-то выходить за рамки вот этого отрезка, понимаете?

ПАВЛЕНСКИЙ: Гипердействие какое-то получается. Я не могу себе позволить вот так вот кастрировать акцию. Это

предательство будет. Себя как художника и как человека. И всего чем я занимаюсь большое количество лет. Тогда это уже будет преступление, кстати.

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Вы понимаете, с чем можно сравнивать… Вот совершить художественную акцию и вовремя посадить человека на кол и говорить: да это общая акция, это часть акции.

ПАВЛЕНСКИЙ: Я рот зашивал, яйца прибивал, в проволоку колючую заматывался. Но это же я не просто так делал.

СЛЕДОВАТЕЛЬ: А вот самая эффективная какая? Для самоутверждения, для самореализации. От какой акции вы получили наибольшее удовлетворение?

ПАВЛЕНСКИЙ: Я скажу, когда получил удовлетворение…

Когда я увидел, что подпись следователя или прокурора, который возбудил уголовное дело по «Фиксации» — это точный пластический аналог акции «Туша». Акция «Туша» — это человеческое тело в коконе из колючей проволоки, а я как раз говорил о репрессивной законодательной системе. То есть человек, находящийся внутри законодательной системы, как он себя там чувствует, как в принципе оказаться в такой колючей проволоке, это становится просто очевидным, и возбуждается уголовное дело, которое подразумевает, что вот впивается законодательная система. И подпись следователя — это точный пластический аналог.

СЛЕДОВАТЕЛЬ: А вот сама акция? Акцию провел — рот зашил. Акцию провел — залез в колючую проволоку?

Если честно, мне вот колючая проволока меньше всего понравилась.

ПАВЛЕНСКИЙ: Почему?

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Ну, как-то она ни о чем.

ПАВЛЕНСКИЙ: А подпись следователя или прокурора? Как это ни о чем, если сама система ставит свои знаки, они так и выглядят, как эта акция.

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Это совпадение. Но с яйцами это, конечно, круто.

ПАВЛЕНСКИЙ: Хорошо.

Но сейчас вот все больше и больше идет набор в полицию. Я о том, что полицейских все больше.

ДИНЗЕ: А толку меньше.

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Их не больше.

ПАВЛЕНСКИЙ: Как это не больше, если раньше в метро по одному стояли. Теперь по 5 стоят.

Растет в геометрической прогрессии.

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Люди уходят с работы. Вакансии…

ПАВЛЕНСКИЙ: Был один полицейский. Теперь пять. Их стало

больше в пять раз,

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Вы же согласитесь, если бы не было там полицейских, то беспредел бы творился. Это же силовая структура, она и создана для того, чтобы что-то предупреждать, пресекать.

ПАВЛЕНСКИЙ: Эта силовая структура охраняет истеблишмент. Прежде всего. Группу людей, которая находится у власти. Ну а общество…

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Ну, вот пять человек стоят в метро, что они там делают?

ПАВЛЕНСКИЙ: Потому что много стало, вместо одного стоит пять теперь. Объявления в метро висят, ну вы же, вы метро не ездите, я просто в метро езжу и наблюдаю… Все льготы, все дотации, жилье, отпуск от 40 дней.

Я это к тому говорю, что то, что я говорю, и акции… Они не голословны.

Это не просто мои фантазии, а наблюдения за контекстом в котором мы находимся.

В общем, я остаюсь при своих позициях.

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Протокол допроса свидетелей. У нас пока, к сожалению, Уголовно-процессуальный кодекс требует соблюдения протокольной формы.

Вот все то, что вы рассказываете, все это надо фиксировать на бумаге.

ПАВЛЕНСКИЙ: Фиксация…

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Фиксация.

Я.

Мы должны установить истину.

Следствие-3

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Здравствуйте. (Тянет руку.)

ПАВЛЕНСКИЙ: Здравствуйте. Вы же мой обвинитель, почему мы должны руки жать?

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Ну, смотрите.

ДИНЗЕ: А-а, помню я этот кабинет. Здесь сидел один, потом уволенный… Этот как его… Следователь.

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Показания будете давать?

ПАВЛЕНСКИЙ: Нет.

СЛЕДОВАТЕЛЬ: При любых раскладах? При любых процессуальных статусах?

ПАВЛЕНСКИЙ: При любом процессуальном статусе. Мы говорили же в прошлый раз с вами про истину и искренность. Я

должен хранить верность событию и словам сказанным. Какова ваша позиция?

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Моя позиция как кого?

ПАВЛЕНСКИЙ: У вас может быть только одна позиция. У вас же не шизофрения. У вас же не может быть раскол головы и личности.

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Вы знаете, иногда у меня может случиться раскол головы. Экспертизу проходить вы не желаете?

ПАВЛЕНСКИЙ: Экспертизу какую?

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Психушку.

ПАВЛЕНСКИЙ: Нет, не желаю. У меня уже было 3 освидетельствования и одна судебно-психиатрическая экспертиза. И это уже дает достаточно оснований, как я уже говорил, полагать мою условную нормальность. Это первое, а второе: безусловно, сам факт того, что все эти психиатрические экспертизы, все эти мнения экспертных сообществ… Это и есть выстраивание этих сегрегирующих стен.

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Каких еще сегрегирующих? Вы о чем?

ПАВЛЕНСКИЙ: Сегрегация, барьеры, разделение…

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Подождите, подождите…

ПАВЛЕНСКИЙ: Сегрегация это разделение. Расовое, религиозное. Норма и патология это тоже разделение. И оно направлено на поддержку гомогенного монолита общественного мнения. Я думаю, вы знаете чем формируется? СМИ, пропаганда.

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Нет, я ничего не знаю. Я, Петр Андреевич, получил очень крепких пиздюлей за то, что дело еще не в суде. По обвинению вас в совершении вандализма.

ПАВЛЕНСКИЙ: Начальство, должностные обязательства…

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Даже не начальство… Районное. А от заместителя руководителя управления. Главного следственного управления! Понимаете?

ПАВЛЕНСКИЙ: Понимаю. Мы же с вами разговариваем, у вас не может быть деления. Где вы? Вы человек или функциональный элемент?

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Свои мысли? Я получил указания, я должен их исправлять как должностное лицо.

ПАВЛЕНСКИЙ: То есть вы признаете, что вы инструмент просто. Это инструментализация, власть просто инструментализирует людей, и все.

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Я согласен. Я высказал свое мнение и теперь жду приказа наказания. Поэтому однозначно я вам хочу сказать, вам будет предъявляться обвинение и будет направлено дело в суд.

ПАВЛЕНСКИЙ: Понятно. А вы помните, что акция называлась

«Свобода»? Это была первая акция, в которой я говорил не о тюрьме, а о свободе. И сейчас весь парадокс в том, что как только я заговорил о свободе…

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Метафизикой это называйте.

ПАВЛЕНСКИЙ: Можно на это разных сторон посмотреть. Когда я говорил о тюрьме, власть это устраивало.

ДИНЗЕ: Делов не было.

ПАВЛЕНСКИЙ: Разговор об освобождении людей автоматически начинает влиять на мою свободу. Вот так все закручивается.

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Так, собственно указания я исполнять обязан. Указание я получил, я обязан их тихо, спокойно исполнять. Только не надо ничего комментировать, ради бога.

ПАВЛЕНСКИЙ: В этом и есть вся злость этих аппаратов, они вас заставляют делать то, что вы не хотите делать. Они берут людей, которые изначально настроены воспринимать искусство, делать искусство. А потом одних людей заставляют нападать на других людей. Делают их обвинительной стороной.

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Нет, подождите, давайте сразу так обсудим. Давайте согласимся как бы, что факт вандализма в ваших действиях есть. Поджог покрышек. Огонь — это не вандализм, а поджог покрышек, оставление следов этих от покрышек, дым этот вонючий, на сооружении Мало-Конюшенный мост — это вандализм.

ПАВЛЕНСКИЙ: Не согласен. Вандализм предполагает уничижение, осквернение. Не был мост унижен. Был разговор о политическом контексте, исторический контекст туда тоже включался. Это было смысловое включение. Единственный огонь, который мог бы осквернить — это я книг бы вывалил кучу, как в 33-м году. 10 сентября, по-моему.

ДИНЗЕ: Или в дату бы эту уложился.

ПАВЛЕНСКИЙ: Взял бы, вывалил философов всех.

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Почему именно на мосту?

ПАВЛЕНСКИЙ: Мост? Это заявление было. Метафора. Мосты горят, и назад дороги уже нет.

Я говорил о том, что происходило на Украине. Майдан — мосты сгорели, назад уже не было дороги. Произошел государственный переворот.

Мост — это метафора. Устойчивое выражение.

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Ну, я понял, это вопрос квалификации.

ПАВЛЕНСКИЙ; Квалификации… Вы мне говорили, что я мыслю широко. А я могу сказать, что аппарат, к которому вы принадлежите, этот аппарат стремится настолько широко все за*хватить в свою область. Это и есть Уголовно-процессуальный

кодекс и административный в том числе, который начинает мыслить себя как идеологический аппарат. Все действия или бездействия людей можно квалифицировать как преступления.

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Я вам сказал честно, мне надо придать вам процессуальный статус подозреваемого. Вот, а для того, чтобы вам его придать, вам надо избрать меру пресечения. В виде подписки о невыезде.

ПАВЛЕНСКИЙ: Вы уже все подготовили?

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Ну, конечно!

ДИНЗЕ: Будешь заполнять?

ПАВЛЕНСКИЙ: А что заполнять? Мне там подписаться надо.

ДИНЗЕ: Можешь не подписывать.

ПАВЛЕНСКИЙ: Я думаю в таком случае, если аппарат предпринимает в отношении меня такие действия, то я буду отвечать молчанием.

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Заполнять будете?

ПАВЛЕНСКИЙ: Нет. Я вас пробовал убедить, что не нужно делать этой сегрегации между «хорошим» искусством — «плохим» искусством. Нормой и патологией. Делит, делит, делит, делит — такое ощущение, как будто многорукий секретарь производит бумаги. Бумагами все делится. Есть искусство правильное?

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Какое искусство? Надо делать как? Надо поступать по закону.

ПАВЛЕНСКИЙ: То есть Уголовно-процессуальный кодекс как идеологический аппарат.

Во главе всего этого стоит статистическая общность. Нет особенностей той или иной ситуации, есть статистика, и все. Начинается с бумаги, с рапорта и к статистике приходит. Все делается ради отчетности. Вот вы мне назначили статус?

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Теперь вы официально являетесь подозреваемым. В течение 10 дней вам будет предъявлено обвинение. И в суд дело! Как я понимаю, и в статусе подозреваемого, и в статусе обвиняемого вы показания давать не будете?

ПАВЛЕНСКИЙ: Нет.

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Давайте сразу тогда это запишем — от дачи показаний отказывается.

ПАВЛЕНСКИЙ: Почему мы поддаемся этому бюрократическому аппарату? Это содействие получается.

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Петр Андреевич, вы вправе знать, в чем подозреваетесь, давать объяснения, пользоваться помощью защитников, представлять доказательства, заявлять ходатайства, отводы, давать показания на родном языке, пользоваться помощью переводчиков бесплатной, знакомиться с протоколом

следственных действий, участвовать в следственных действиях, которые проводятся по вашему ходатайству, ябедничать, защищаться иными средствами, не запрещенными законом.

ПАВЛЕНСКИЙ: А вы можете мне сказать, кто эту статью выбрал применительно к этой акции?

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Кто выбрал?

ПАВЛЕНСКИЙ: Ведь могла быть попытка государственного переворота…

ДИНЗЕ: Терроризм.

ПАВЛЕНСКИЙ: Еще, что-нибудь…

ДИНЗЕ: Логика… Может вы присутствовали при логике рассуждений?

ПАВЛЕНСКИЙ: Я просто не понимаю, как это происходит, человек садится, книгу раскрывает таак… Вандализм — это осквернение, так можно Марсово поле, «Вечный огонь» он оскверняет тоже. Олимпийский огонь… Огонь горит.

ДИНЗЕ: Гарь идет.

ПАВЛЕНСКИЙ: Газ идет, народное достояние.

ДИНЗЕ: Воняет, там же идут испарения. Особенно когда рядом стоишь.

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Короче, объявляется, что вы подозреваетесь в осквернении сооружения Мало-Конюшенного моста в Санкт-Петербурге, совершенного группой лиц 23 февраля около 8 часов 00 минут на Мало-Конюшенном мосту в городе Санкт-Петербурге, то есть в совершении преступления, предусмотренного на-на-нанана…

ПАВЛЕНСКИЙ: Скажите, если бы вы там рядом были. Вы бы присоединились?

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Нет, присоединяться я бы не стал. Показания давать не желаете?

ПАВЛЕНСКИЙ: Нет, Вы понимаете, что любой момент имеет историческую важность?

Это вопрос ответственности.

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Я понимаю. Я чувствую, что у меня наступит такой момент» Не важно, какой. Рано или поздно наступит момент, который будет иметь для меня историческую важность.

ПАВЛЕНСКИЙ: Я имею в виду перед собой ответственность, прежде всего. Не перед начальством. Начальство — это бесконечная иерархия. Каждый начальник чей-то подчиненный и каждый подчиненный чей-то начальник. Никто ни за что, не ответственен.

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Круговорот такой.

ПАВЛЕНСКИЙ: А результатом становятся высказывания про музей психиатрический отдельный, в котором должно находиться

определенное искусство. То, которое через полгода нахождения в отделе организации дознания признается прецедентом искусства. Хотя всем остальным уже в первый вечер все ясно было.

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Вы знаете, мне кажется, просто там не было сильной политической воли или просто забыли про этот случай. А если кто-нибудь бы окончательно сказал посадить в тюрьму… Посадили бы и никакой Европейский суд не помог.

ПАВЛЕНСКИЙ: Все решает воля человека, которому это просто не нравится?

ПАВЛЕНСКИЙ: Те есть здесь воля чья-то давит на вас, и на меня в том числе.

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Я не знаю. Я вам честно скажу, я не знаю. Может быть, воля, может быть, видение. Может быть, это юридическая мысль. С точки зрения права. Может, это объективная истина, черт его знает. Есть суд, правильно? Суд будет разбираться!

ПАВЛЕНСКИЙ: Суд? Суд, знаете, также ни в чем не разбирается. Суд смотрит на бумагу. Все начинается с рапорта и заканчивается определением. Бесконечная миграция бумаг.

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Нет, настоящий суд… Грубо говоря, допустим, вас же сейчас осудят. Просто вас осудит районный суд, точнее, мировой. Подсудный, скажем, мирового суда. Вы тут же обжалуете, правильно? Допустим, не согласитесь с тем, что вас осудили. Обжалуете в районный суд, правильно? Районный суд оставит в силе постановленный обвинительный приговор. Вы обжалуете в городской суд, потом уже в конституционном порядке. Городской суд либо оставит в силе, либо вернет на новое разбирательство. Вы же не остановитесь на этом, вы же будете добиваться?

ПАВЛЕНСКИЙ: Вы думаете, мне интересно производством бумаги заниматься?

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Хотя вы знаете, мы вот тут смотрим, все говорят: «У нас тоталитаризм». А вот Америка, там демократия… А там гораздо все жестче на самом деле. Гораздо все действительно жестче и брутальнее.

ПАВЛЕНСКИЙ: Например, в чем это выражается?

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Ну, там мента оскорбил… Лет 40 получить за это можно. Или, если полицейский посчитал, что ты тянешься в карман, чтобы достать нож — он тебя может смело убить, и ничего ему за это не будет. Там все на самом деле очень жестко. А у нас представляете, ментов бьют и получают условные сроки.

ПАВЛЕНСКИЙ: Да не получают у нас условные сроки, вы как-то, по-моему, симпатизируете системе.

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Да что вы мне рассказываете! Я тут направил

дело по 318-й.

ПАВЛЕНСКИЙ: Ударил «мусора»?

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Ну да, примирились, и все. И в основном так. Никто не сажает. По 318-й сажать, не мало будет, поверьте мне! По 319-й, по 103-й, у нас система такая довольно таки… Очень либеральная! Кто ворует, у нас тоже не особо…

ПАВЛЕНСКИЙ: Почему же мы здесь тогда сидим? Система! Я бы не сказал, что симпатизирую либеральной системе.

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Дмитрий Владимирович, скажите много у нас по 318-й сажают?

ДИНЗЕ: В Москве сажают.

СЛЕДОВАТЕЛЬ: В Москве за Болотную сажают.

ДИНЗЕ: В Твери посадили нацбола. Парня, который на митинге повздорил с сотрудником полиции.

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Ну, может, он какой-нибудь…

А обычных граждан?

ДИНЗЕ: Обычных граждан нет, только если не борзый какой-нибудь.

ПАВЛЕНСКИЙ: Вы все оправдываете! Вы систему оправдываете, человека не оправдываете.

Вы статистическую общность оправдываете. Все наоборот, все перевернуто. Почему?

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Что перевернуто?

ПАВЛЕНСКИЙ: Система, где бумаги главенствуют — оправдывается, человек не оправдывается.

ДИНЗЕ: Нужно сказать, чего ты хочешь. Ты хочешь, наверное, чтобы тебя не трогали?

ПАВЛЕНСКИЙ: Я хочу, чтобы мы говорили объективно. Мы говорим о прецеденте искусства, работа в символическом поле. Так мы бы и разговаривали на этих основаниях.

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Записывать-то показания все равно надо. Их надо оценивать. Чего вы их не даете?

ПАВЛЕНСКИЙ: Не даю, потому что не хочу способствовать этому движению бумаги.

СЛЕДОВАТЕЛЬ: На суде-то все равно будете их давать. Прокурор выступит, последнее слово…

ПАВЛЕНСКИЙ: А может, и не буду, посмотрю еще. Может, я озвучу свою позицию в последнем слове, а может, у меня молчание бу дет последним словом. Я был на судебных процессах, мне неинтересны процессы. Мне интересно, как система работает. Я смотрел на судью — она не судья, так, придаток к этому потоку бумаги.

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Так это везде так.

ПАВЛЕНСКИЙ: Одни инструменты. И курсирующие потоки

бумаги между различными аппаратами. А над всем этим стоит основа — Уголовно-процессуальный кодекс. Но это же не Абсолют. Я думаю, объективно эта книга была написана для определения степени вины и наказания. Это же частность, а вторгается в область искусства, например. Я понимаю, если бы я этот мост сжег или разрушил. Был мост — и нет!

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Вандализм не по ущербу оценивается. Дымило там, оставило копоть. Поэтому и состав такой, преступление нетяжкое.

ДИНЗЕ: Слушайте, у нас тогда любой пожар идет по совокупности со 167-й, и по совокупности вандализм.

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Если бы стоял где-нибудь на проспекте Стачек. Или на КАДе стоял, поджигал…

ПАВЛЕНСКИЙ: Я работал с символическими элементами.

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Почему с символическими элементами именно на объекте культурного наследия? Могли бы поехать там на КАД и там…

ДИНЗЕ: В Твери посадили нацбола. Парня, который на митинге повздорил с сотрудником полиции.

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Ну, может, он какой-нибудь… А обычных граждан?

ДИНЗЕ: Обычных граждан нет, только если не борзый какой-нибудь.

ПАВЛЕНСКИЙ: Вы все оправдываете! Вы систему оправдываете, человека не оправдываете. Вы статистическую общность оправдываете. Все наоборот, все перевернуто. Почему?

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Что перевернуто?

ПАВЛЕНСКИЙ: Система, где бумаги главенствуют — оправдывается, человек не оправдывается.

ДИНЗЕ: Нужно сказать, чего ты хочешь. Ты хочешь, наверное, чтобы тебя не трогали?

ПАВЛЕНСКИЙ: Я хочу, чтобы мы говорили объективно. Мы говорим о прецеденте искусства, работа в символическом поле. Так мы бы и разговаривали на этих основаниях.

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Записывать-то показания все равно надо. Их надо оценивать. Чего вы их не даете?

ПАВЛЕНСКИЙ: Не даю, потому что не хочу способствовать этому движению бумаги.

СЛЕДОВАТЕЛЬ: На суде-то все равно будете их давать. Прокурор выступит, последнее слово…

ПАВЛЕНСКИЙ: А может, и не буду, посмотрю езде. Может, я озвучу свою позицию в последнем слове, а может, у меня молчание будет последним словом. Я был на судебных процессах, мне неинтересны процессы. Мне интересно, как система работает.

Я смотрел на судью — она не судья, так, придаток к этому потоку бумаги.

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Так это везде так.

ПАВЛЕНСКИЙ: Одни инструменты. И курсирующие потоки бумаги между различными аппаратами. А над всем этим стоит основа — Уголовно-процессуальный кодекс. Но это же не Абсолют. Я думаю, объективно эта книга была написана для определения степени вины и наказания. Это же частность, а вторгается в область искусства, например. Я понимаю, если бы я этот мост сжег или разрушил. Был мост — и нет!

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Вандализм не по ущербу оценивается. Дымило там, оставило копоть. Поэтому и состав такой, преступление нетяжкое.

ДИНЗЕ: Слушайте, у нас тогда любой пожар идет по совокупности со 167-й, и по совокупности вандализм.

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Если бы стоял где-нибудь на проспекте Стачек. Или на КАДе стоял, поджигал…

ПАВЛЕНСКИЙ: Я работал с символическими элементами.

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Почему с символическими элементами именно на объекте культурного наследия? Могли бы поехать там на КАД и там…

ДИНЗЕ: Следственное управление Приморского района сказало бы: «У людей возникло чувство уничижения города».

ПАВЛЕНСКИЙ: Это вопрос исторического контекста.

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Надо же смотреть законодательство. Выяснять.

ПАВЛЕНСКИЙ: Вы представляете, если я планирую осуществить действие и начинаю смотреть законодательство. Это я кто вообще буду?

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Вот вы когда делать в следующий раз, когда соберетесь, вы делайте где-нибудь на адмиралтейской территории. На «Ваське» у себя. На «Петроградке».

ПАВЛЕНСКИЙ: Это знаете какой исторический центр вообще?

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Но не в центре. Не в центральном районе. Вы за Гороховую заходите и все. Там чего хотите делайте!

ПАВЛЕНСКИЙ: Я работаю не в центре или не центре. Я работаю в информационном поле. Вы понимаете?

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Определите для себя информационное поле и его территорию…

ПАВЛЕНСКИЙ: Географически?

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Вне центра. Исключите Гороховую, Литовский проспект, Дворцовую вдоль речки… Это исключите. А остальное, чего хотите делайте!

ПАВЛЕНСКИЙ: Специальная такая часть информационного поля получается…

ДИНЗЕ: У тебя же должна быть в искусстве черная дыра…

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Для информационного поля Центральный район не подходит.

ПАВЛЕНСКИЙ: Следующее, что вы, следуя этой логике, мне посоветуете… Вы посоветуете мне исключить какие-то действия. Или даты, например, «День сотрудника внутренних органов».

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Нет, нет, нет. Только территориально. Кстати, вот смотрите… Ладно не буду ничего говорить, а то вы пойдете… Потом еще скажете, что это я вас надоумил.

ПАВЛЕНСКИЙ: Ладно, вы можете ничего мне не говорить. Вы можете пойти и сами осуществить! Просто костюм надеть, чтобы вас никто не узнал.

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Не-не-не, я слишком не свободен.

ПАВЛЕНСКИЙ: Почему вы к этому не стремитесь?

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Я очень хочу, очень хочу, но закомплексованный я человек.

ПАВЛЕНСКИЙ: Вы думаете, можно спрятаться за начальниками этими, за кабинетами, за бумагами?

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Я за мирные акции. За веселье и радость. Я помните, рассказывал, акцию хочу замутить «Освидетельствование»? Негр, профессор и жулик. Они стоят и держат номера: 1, 2, 3. А понятые — цари переодетые.

ПАВЛЕНСКИЙ: Вы можете вообще выйти из системы и, пользуясь своими знаниям, строить какое-нибудь… Бюрократическое искусство.

СЛЕДОВАТЕЛЬ: А я собираюсь рано или поздно выйти из системы. Только не знаю, как это осуществить. Не знаю, как это. Ладно, давайте правда так решим: «В споре рождается истина»…

ДИНЗЕ: Ну, я не знаю в каком споре…

ПАВЛЕНСКИЙ: В споре? Так я с вами спорю. Вы мне честно скажите, вот будет суд… Вы выйдете и будете говорить «Виноват»?

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Прокурор будет говорить. Гособвинитель.

ДИНЗЕ: Гособвинитель будет говорить, поддерживать позицию следователя. Следователь у нас, сторона обвинения. В соответствии с уголовно-процессуальным законодательством.

ПАВЛЕНСКИЙ: Вот мы разговариваем, но это не вандализм. Книги взять, книги сжечь… Если огонь присутствует. Книги сжечь, потому что он связывался бы тогда с тем, что делали во время Третьего рейха. Тогда бы да, была связь, можно было бы поговорить и поспорить. Книги сжигались, и есть определенные исторически сложившиеся понятия в этом смысле.

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Ладно, это все… У меня есть своя точка зрения на этот счет, только она еще не сформировалась. Вы мне скажите, вторая там, это была Пасынкова?

ПАВЛЕНСКИЙ: Кто была Пасынкова?

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Которая там поджигала.

ПАВЛЕНСКИЙ: Там никто не поджигал второй, вы это где увидели?

СЛЕДОВАТЕЛЬ: На видео.

ПАВЛЕНСКИЙ: Я не знаю, кто там был, там куча людей бегала. Фотографов много.

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Да, на этом будете вы… В обвинительной будет написано: «Павленский и неопределенные лица».

ПАВЛЕНСКИЙ: Пусть будет все, что напишете, все ваше.

Приложение